

ЭЛЬ КРАВЕН

ТАМОЖЕННИК РАЗЛОМА



ТОМ I

ЗАСТАВА БЕЗ ХОЗЯИНА

18+

Эль Кравен

**Таможенник Разлома.
Застава без хозяина. Том I**

«Автор»

2026

Кравен Э.

Таможенник Разлома. Застава без хозяина. Том I / Э. Кравен — «Автор», 2026

Если в декларации написано «детские игрушки», это ещё ничего не значит. Я был таможенником, пока напарник не продал меня контрабандистам. Очнулся уже в другом мире — в теле опозоренного дворянина Михаила Корсунова, которого успели отравить и назначить начальником мёртвой заставы у магического Разлома. В наследство мне достались три служащих, пустая казна, исчезнувший предшественник и дорога, по которой княжеские люди возят всё, что не желают показывать государству. Маг из меня паршивый. Зато Казённый Реестр видит ложь в декларациях, помнит старые долги и превращает правильно оформленный закон в оружие. Значит, заставу отстроим, людей соберём, контрабанду перекроем. А потом выясним, почему за закрытый пост три года исправно платили и кому понадобилось открывать Врата чужой кровью. Взятки я не беру. Я забираю всё — строго по описи.

Содержание

Глава 1. Последняя декларация	5
Глава 2. Назначение на смерть	16
Глава 3. Застава № 7	26
Глава 4. Груз без веса	37
Глава 5. Пломба	47
Глава 6. Цена закона	58
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Эль Кравен

Таможенник Разлома.

Застава без хозяина. Том I

Глава 1. Последняя декларация

Если в декларации написано «детские игрушки», это ещё ничего не значит.

Люди вообще любят писать безобидные слова. Игрушки. Посуда. Запасные части. Гуманитарная помощь. Иногда за этими словами действительно лежат игрушки, посуда и запчасти. В такие дни можно спокойно допить кофе и даже вернуться домой до полуночи.

Сегодня не такой день. Я стою перед вскрытой фурой, смотрю на сотни одинаковых картонных коробок и чувствую, как между лопаток медленно собирается холодок. На улице конец весны, в ангаре душно, от мокрого бетона тянет соляжкой, но холодок никуда не девается. Он у меня вместо служебной собаки.

— Красиво упаковали, — говорит Климов.

Он присаживается у ближайшего поддона и поддевает перчаткой прозрачный скотч. Коробка яркая: улыбающийся мальчик держит над головой синий квадрокоптер. Надпись обещает шесть минут полёта, безопасные винты и море радости детям от восьми лет. Климову двадцать семь. Он ещё верит всему, что печатают крупными буквами.

— Не вскрывай, — говорю я.

Его палец останавливается под лентой.

— Михаил Андреевич, мы за этим два часа по промзоне ехали.

— Вот и не порть результат двумя секундами самостоятельности. Сначала камера.

Климов вздыхает, но руку убирает. Поднимается, расправляя затёкшие колени, и кивает оператору. Тот переставляет треногу ближе. Красный огонёк горит. Номер пломбы снят, общий план снят, состояние тента снято. Всё по порядку. Порядок обычно раздражает только тех, кому он мешает. Водитель сидит на складном стуле у стены. Руслан Нургалиев, сорок шесть лет, женат, двое детей, последние семь лет возит сборные грузы из Казахстана. Паспорт чистый, путевой лист настоящий, тахограф без явных фокусов. На лице скука человека, которого оторвали от сна, а руки рассказывают другое: пустой бумажный стакан он держит обеими ладонями и трёт край большими пальцами. Раз, два, пауза. Так люди не греются. Так они проверяют, на месте ли ещё кожа.

— Руслан, — окликаю я.

Он поднимает голову слишком быстро.

— Что?

— Как дети?

Стакан хрустит в пальцах.

— Нормально.

— Старший школу закончил?

— В этом году.

В анкете, которую мне прислали час назад, старшей была дочь. Ей девятнадцать, она училась в колледже. Сыну десять. Можно списать на усталость. Можно вообще ни на что не списывать. Мы тут не семейный психологический кружок ведём.

— Поздравляю, — говорю я.

Руслан кивает и опускает взгляд. Раз, два, пауза. За моей спиной скрипит металлическая дверь ангара.

— Миш, ты его до инфаркта доведёшь.

Голос я узнаю раньше, чем оборачиваюсь. Антон Леднев идёт к нам между рядами пустых стеллажей. Куртка расстёгнута, седая щетина на подбородке блестит от мелкого дождя. В правой руке два стакана кофе. Один он протягивает мне.

— Без сахара.

— Я помню.

— Ты десять лет помнишь, а в прошлый раз принёс с карамелью.

— В прошлый раз покупал Климов.

— Эй, — отзывается тот от фуры. — Климов всё слышит.

Леднев улыбается устало и привычно. Такой он встречал меня после первой проваленной разработки, такой сидел рядом в больнице, когда мне зашивали ладонь, такой говорил на похоронах Саньки Громова, что мы всё равно дождём его дело. За десять лет кажется, будто человека уже изучил. Опасное слово — «кажется». Я принимаю кофе, но не пью. На крышке расплылась тёмная капля.

— Почему без группы быстрого реагирования? — спрашивает Леднев.

— Потому что утечка.

— Предположительно.

— Три раза меняли дату отправки, дважды — машину. Стоило подать запрос смежникам, груз вставал. Сегодня запрос не подали — груз поехал.

Леднев смотрит на фуру, не на меня.

— Совпадение.

— Конечно. Совпадения оскорбили статистику.

Он усмехается и отпивает кофе. Я свой так и держу в руке. Запах нормальный: дешёвый сироп, картон, пережжённые зёрна. Холодок между лопаток становится сильнее, но кофе тут ни при чём.

— Камера пишет? — спрашивает Леднев.

Оператор поднимает большой палец.

— Тогда вскрывайте, — говорит Антон. — Посмотрим, ради чего Михаил Андреевич поднял среди ночи половину управления.

— Четверых человек, — уточняет Климов.

— Для нашего управления это почти половина.

Смеётся даже водитель. Коротко, с облегчением. Леднев умеет так: войти в помещение и сделать всех немного спокойнее. Полезное качество для начальника. Особенно если спокойствие ему зачем-то нужно. Климов берёт нож, показывает лезвие в камеру и режет скотч. Не спешит. Молодец. Откидывает картонные клапаны. Сверху действительно лежит квадрокоптер. Синий, пластмассовый, с четырьмя мягкими накладками на винтах. Климов вытаскивает игрушку, переворачивает, нажимает кнопку. Ничего.

— Батарейки за отдельную плату, — замечает оператор.

— Аккумулятор встроенный, — говорю я.

Климов находит разъём. Потом сжимает корпус пальцами. Пластик прогибается легче, чем должен.

— Пустой, — говорит он.

— Вскрывай корпус.

— Протокол...

— Основание — несоответствие заявленным характеристикам. Внеси.

Оператор повторяет мою фразу на камеру. Климов выкручивает два винта мультитулом, поддевает крышку. Внутри нет ни платы, ни двигателей, ни аккумулятора. Только несколько стальных шайб, приклеенных к днищу для веса.

— Очень безопасная игрушка, — говорит Леднев. — Летать не будет.

Никто не смеётся. Я ставлю кофе на бетон.

— Нижний ряд.

Климов вытаскивает картонную перегородку. Под ней обнаруживается второй короб, без рисунков. Серый влагозащитный пластик, вакуумный шов, маркировка на английском и китайском. Не товарная — техническая. Климов смотрит на меня, приоткрыв рот. За секунду лицо становится старше.

— Михаил Андреевич...

— Не трогай голыми руками.

— Я в перчатках.

— Эти перчатки от грязи. Принеси антистатические.

Он отходит к машине. Оператор ведёт камеру за ним, потом возвращает объектив к коробке. Красный огонёк продолжает гореть. Водитель больше не трёт стакан. Сидит неподвижно и смотрит в пол. Леднев присаживается перед открытым ящиком, близко, но ничего не касается. Он много лет работает с контрабандой; люди, впервые увидевшие крупную партию, обычно задают вопросы. Антон молчит.

— Что там? — спрашиваю я.

— Сейчас специалисты скажут.

— А ты как думаешь?

Леднев медленно разгибается, тихо кряхтя — прошлой зимой жаловался на колени.

— Думаю, ты оказался прав. Наслаждайся моментом, пока я добрый.

— Раньше ты был любопытнее.

— Раньше у меня не было твоих служебок, прокуратуры и сорока восьми лет за спиной.

Отвечает легко, почти без паузы. Почти. Климов возвращается с перчатками и малым комплектом досмотра. Мы вскрываем серую упаковку. Под ней лежат чёрные блоки в отдельных ячейках. Контроллеры. Платы навигации. Компактные тепловизионные модули. Бесколлекторные двигатели, совсем не игрушечного размера. Всё без серийных номеров. Отдельно, в пенале, — платы с аккуратно выпаянными ограничителями. Климов тихо матерится.

— На сотню аппаратов хватит, — говорит он.

— Больше, — отвечаю я.

— Откуда знаете?

— Восемнадцать тонн игрушек.

Он обводит взглядом фуру. Коробки уходят к передней стенке шестью рядами; если в каждой лежит хотя бы один комплект, считать придётся утром и с понятиями. Леднев уже достаёт телефон.

— Вызываю специалистов и ФСБ. До их приезда ничего больше не вскрываем.

— Сначала фиксируем ещё две случайные коробки из разных рядов. Иначе защита объявит единственную находку подбросом.

— У нас видео.

— У нас частный ангар, четыре сотрудника и груз, который уже прошёл контроль с настоящей пломбой. Будет три вскрытия.

— Я сказал ждать.

Голос меняется совсем немного. Исчезает усталое тепло. Остаётся должность. Климов смотрит с него на меня. Оператор тоже ждёт. Красная лампочка камеры горит. Я мог бы уступить. Формально Антон прав: после обнаружения такой номенклатуры надо остановиться, оградить место и ждать специалистов. Но фура прошла через контроль с настоящей пломбой, запросы утекали, даты менялись после наших совещаний, а Леднев так и не спросил, что именно лежит в серой упаковке. Он знал. Не обязательно всё — достаточно, чтобы сейчас остановить меня.

— Камеру на общий план, — говорю я оператору. — Климов, третий поддон справа. Верх не трогай, бери коробку из середины.

— Орлов, выйдем, — произносит Леднев.

Тихо произносит. Поэтому Климов сразу кладёт нож.

— Сначала закончим действие.

— Выйдем. Сейчас.

Я поворачиваюсь к нему. Мы стоим в трёх шагах друг от друга. За спиной Леднева — дверь ангара. Справа водитель. Слева открытая фура и Климов с ножом. Оператор держит руки на камере. Через закрытые ворота глухо шумит дождь. Не хватает только надписи «служебная идилия».

— Антон, куда звонишь? — спрашиваю я.

— Куда положено.

— Экран покажи.

Водитель перестаёт дышать. Или мне так кажется. Леднев убирает телефон в карман.

— Ты охуел?

— Возможно. Экран покажи.

— Миша, — он делает шаг ко мне, и в голос возвращается знакомая усталость. — Ты не спал двое суток. У тебя опять начинается. Пойдём на воздух, умоешься. Я сам закончу.

Вот это уже хуже пистолета. Не от угрозы. От интонации. Так разговаривают с человеком, которого уже назначили больным. Осталось вызвать врача, составить бумагу и рассказать коллегам, как давно замечали странности.

— Климов, — говорю я, не отводя глаз от Леднева, — проверь связь.

Молчание тянется на секунду дольше допустимого. Климов стоит у поддона с опущенным ножом и смотрит куда-то мимо меня. Оператор убрал руки с камеры; правая спрятана под курткой, красная лампочка погасла. Холодок между лопаток наконец складывается в ясную мысль: нас здесь двое — я и груз. Остальные уже оформились. Леднев медленно выдыхает через нос.

— Антон Сергеевич... — начинает Климов.

— Максим, выйди.

— Но груз...

— Я сказал: выйди из ангара. Это служебный приказ.

Климов не двигается. Хороший признак. Плохой признак — он всё ещё держит нож и стоит в двух шагах от водителя.

— Макс, — говорю я. — Иди.

Он смотрит мне в лицо.

— Михаил Андреевич?

— Выйди и позвони дежурному.

Оператор вынимает из-под куртки короткий пистолет с толстым глушителем — рабочий инструмент, которому не нужно никого впечатлять. Ствол смотрит Климову в живот. Игорь Ершов, сорок два года, женат; на последнем корпоративе показывал фокус с монетой и объяснял, почему не пьёт крепкое. Сегодня программа насыщеннее.

— Телефон на пол. Медленно, — говорит он.

Климов кладёт нож на коробку, достаёт телефон двумя пальцами и опускает на бетон.

— Теперь к двери, — говорит Леднев. — И не дёргайся. Тебя это не касается.

— Он всё видел.

— Увидел пустую игрушку. Остальное оформим как образцы комплектующих, не заявленные по ошибке. Административка. Перевозчик заплатит штраф.

Водитель вскидывает голову.

— Мы не так договаривались.

Ершов переводит пистолет на него.

— А тебя, Руслан, никто не спрашивает.

Водитель медленно вжимается в стену. Бумажный стакан выпадает из рук и катится по бетону. Пустой, конечно. Пустые вещи сегодня особенно популярны.

— Макс, иди, — повторяю я.

Климов отступает к двери. Не поворачивается спиной. Молодец. Жить хочет правильно.

— За воротами стой, — говорит Леднев. — Не звони. Твой телефон останется здесь. Через десять минут выйдем и поговорим.

— О чём?

— О том, как легко молодой сотрудник может перепутать модели электронных компонентов. И как полезно иногда слушать старших.

Климов бросает на меня последний взгляд. Я едва заметно киваю. Иди. Хотя бы один. Он выходит. Металлическая дверь скрипит, потом захлопывается. Щёлкает замок. Снаружи или изнутри — не вижу. Леднев наклоняется, поднимает телефон Климова и передаёт Ершову. Тот убирает аппарат в карман, не опуская пистолета.

— Теперь твой, — говорит Антон мне.

— Сначала объясни.

— Объяснить?

— Десять лет всё-таки. Некрасиво увольнять без собеседования.

Он смотрит на меня долго. Потом качает головой.

— Вот за это ты меня всегда и бесил.

— За чувство юмора?

— За уверенность, что ты умнее остальных.

— Я не уверен. Я проверяю.

— Один хрен.

Леднев проходит к открытой фуре и кладёт ладонь на край кузова. Без перчатки. На месте, где уже работали эксперты, он бы за такое сам оторвал сотруднику руку.

— Ты думаешь, это продают террористам? — спрашивает он. — Боевикам? Каким-нибудь ублюдкам, которые завтра соберут дрон и запустят его в школу?

— Я пока думаю, что это ввезли под видом игрушек.

— Потому что по-белому такое не провести.

— Какое именно «такое»?

Он постукивает пальцами по металлу.

— Оборудование. Комплекующие. То, что всё равно нужно людям, которые умеют с ним работать. Санкции ты отменишь? Платёж проведёшь? Разрешение подпишешь? Нет. Ты умеешь только остановить фуру и красиво написать акт.

— Не приbedняйся. Акты я пишу отвратительно.

— Блядь, Миш.

Только теперь из его голоса прорывается злость. Не холодная должностная — живая, накопленная.

— Страна не живёт по твоей инструкции. Никогда не жила. Пока ты считаешь номера и ловишь водил за яйца, другие договариваются, чтобы хоть что-то двигалось. Заводы. Лаборатории. Частные конторы, которые делают нужные вещи. Им не нужны твои принципы. Им нужны платы.

— А тебе?

Леднев замолкает.

— Что мне?

— Что нужно тебе?

Ершов чуть меняет стойку: устал держать оружие на вытянутой руке. До него четыре метра, между нами камера на треноге; до Леднева три, кобура у него под расстёгнутой курткой. Водитель прижат к стене, Климов за дверью, ворота закрыты. Мой телефон во внутреннем кармане: три нажатия запускают тревожную запись, удержание отправляет файл. Настройку я сделал после осенней разработки, когда подозреваемый попробовал переехать меня машиной. Леднев тогда неделю шутил над стариковскими кнопочными привычками.

— Мне нужно, чтобы ты наконец перестал лезть туда, где не понимаешь, — отвечает он.

— Не хочешь говорить про деньги?

— Деньги получают все.

— Я не получаю.

— Тебе предлагали.

— Один раз. Конверт был тонкий, я обиделся.

Ершов фыркает. Леднев даже не улыбается.

— Тебе предлагали перевод, повышение, нормальный кабинет. Просили закрыть одну разработку. Ты устроил показательное выступление и написал в управление собственной безопасности.

— Значит, письмо потерялось.

— Не потерялось. Пришло куда надо.

Два года назад мой рапорт не вызвал ни одной проверки, зато фигурант успел закрыть фирму, вывести деньги и уехать. Мы искали утечку на уровне управления. Уровень сейчас стоит передо мной и пьёт кофе без сахара.

— Сколько вас? — спрашиваю я.

— Достаточно.

— Плохое число. В суде не любят.

— Суда не будет.

— Тогда зачем разговор?

Леднев убирает ладонь с кузова и вытирает её о джинсы. Очень по-человечески, как после обычной складской пыли.

— Я всё ещё пытаюсь оставить тебе выход.

— Через какую дверь?

— Через ту же, что Климову. Ты отдаёшь телефон, карту памяти с регистратора и говоришь, кому успел сообщить про машину. Мы вынимаем из фуры то, чего ты не должен был найти. Остальное оформляешь как несоответствие маркировки. Через месяц уходишь по здоровью. Получаешь деньги. Нормальные деньги, Миш. Хватит до конца жизни.

— Моей или твоей?

Антон кривится.

— Не надо геройствовать. Ты не герой. Я тоже. Мы сорокалетние мужики в грязном ангаре, и у одного из нас пистолетов больше.

— У тебя два. У меня ни одного. Не преувеличивай преимущество.

— Отдай телефон.

Я медленно опускаю правую руку к груди. Ершов выпрямляется. Ствол ползёт выше, к солнечному сплетению.

— Двумя пальцами, — предупреждает он.

— Игорь, у тебя рука дрожит.

— Заткнись.

— Локоть прижми. Если выстрелишь так, поведёт вправо. Руслана зацепишь.

Водитель шарахается ещё дальше, хотя дальше уже стена.

— Орлов, — говорит Леднев.

Один раз нажимаю боковую кнопку через ткань кармана.

— Я достаю телефон.

Второй.

— Доставай.

Третий. Короткая вибрация касается груди. Запись пошла. Я завожу два пальца под край куртки. По лицу Леднева понимаю: он окончательно поверил, что я не соглашусь. Наверное, знал с самого начала, но десять лет требуют хотя бы приличия.

— Миш, последний раз.

— Номер машины ушёл дежурному ещё до заезда. Вместе с номером пломбы и координатами. Через двадцать минут он должен был получить подтверждение.

Леднев смотрит на часы. Блеф срабатывает потому, что наполовину правдив: данные я отправил, подтверждения никто не ждёт.

— Телефон.

Я удерживаю боковую кнопку. Телефон вибрирует, Ершов замечает движение ткани.

— Руку!

Хватаю стакан с остывшим кофе и швыряю Ершову в лицо. Для ожога не хватит, для неожиданности — вполне. Он дёргается и стреляет; негромкий хлопок, пуля разбивает фару погрузчика у меня за спиной. Я толкаю на него треногу. Камера летит объективом вперёд, Ершов закрывается локтем, а я врезаюсь плечом ему в грудь, хватаю запястье с пистолетом и выворачиваю наружу. Он крепче, чем выглядит. Мы топчемся на мокром бетоне, материмся друг другу в лицо и пытаемся первыми вспомнить, чему нас учили. Я вспоминаю удар коленом, Ершов — укус. Зубы смыкаются на рукаве; я бью лбом ему в переносицу. Перед глазами белеет, у него из носа идёт кровь, пистолет падает между поддонами.

Водитель бросается к двери. Леднев не останавливает его — достаёт оружие. Я толкаю Ершова навстречу, и первый выстрел попадает ему в плечо. Мы оба валимся на коробки, картон рвётся, синие пустые квадрокоптеры сыплются на бетон.

— Стоять! — кричит Леднев.

Требование разумное, выполнять поздно. Я ползу к упавшему пистолету; Ершов цепляет меня здоровой рукой за штанину. Полметра. Тридцать сантиметров. Пальцы касаются глушителя — и в бок будто вбивают раскалённый лом. Выстрела почти не слышу. Тело разворачивает, локоть подламывается. Несколько секунд смотрю в потолок и не понимаю, почему тот качается. Потом приходит большая, тупая, деловитая боль, занимает живот, грудь, спину и принимается наводить порядок. Между пальцами, прижатыми к боку, сразу становится мокро.

— Сука, — говорит Леднев; неясно, мне или ситуации.

Ершов стонет среди коробок, из плеча течёт кровь. Антон подходит, держа пистолет двумя руками, правильно. Этому я его когда-то и учил.

— Зачем? — спрашивает он.

Я пытаюсь вдохнуть. Воздух входит коротко и царапает изнутри.

— Кофе... дерьмо.

— Телефон где?

— Отзыв... напишу.

Он приседает рядом и шарит по моей куртке. Я хочу ударить, но правая рука не слушается, а левая зажимает рану, будто может договориться с кровью. Леднев вытаскивает телефон. Экран разбит, в верхнем углу ползёт синяя полоса отправки — девяносто два процента.

— Пароль.

Я улыбаюсь; судя по его лицу, выходит некрасиво.

— День рождения начальника.

— Пароль, Миша.

Он прикладывает мой палец к сенсору. Телефон не узнаёт залитый кровью отпечаток. Девяносто семь. Антон вытирает палец о собственную куртку и прижимает снова. Экран открывается.

Отправлено.

Усталость возвращается на его лицо, такая знакомая, что хочется спросить, как колени.

— Кому?

— Всем, — вру я.

Может, запись ушла на резервный сервер. Может, приложение подавилось связью и отправило пустой файл, а завтра дежурный всё удалит по звонку сверху. Я этого уже не узнаю. Но Леднев тоже не знает, и неизвестность остаётся моим последним оружием. Он встаёт.

— Игорь, можешь идти?

— Плечо...

— Зажми. В машине аптечка.

— А он?

Леднев смотрит на меня сверху вниз.

— Он уже никуда не пойдёт.

— Антон, — хриплю я.

Он замирает.

— Груз чей?

Не знаю, зачем спрашиваю. Профессиональная привычка. Последняя декларация должна быть заполнена до конца. Леднев качает головой.

— Неважно.

— Тогда... зря старались.

Второй выстрел входит под ключицу. Боли почти нет. Только сильный толчок и мгновенная слабость, будто из тела выдернули провод. Леднев что-то говорит Ершову. Слова становятся глухими. Потолочные лампы вытягиваются в белые полосы. Возле моей руки лежит синий квадрокоптер. Улыбающийся мальчик на коробке обещает море радости детям от восьми лет. На игрушку наступают. Пластик хрустит. Я успеваю подумать, что ошибался только в одном: границу покупают не те, кто приходит снаружи. Её всегда продаёт кто-то свой. Потом ангар выключают — сразу весь.

Первым возвращается запах — мокрая шерсть, старое дерево и горечь, вьёвшаяся в язык. Я лежу лицом вниз, щекой на грубой ткани; на затылке что-то тяжёлое, под рёбрами жёсткий край доски. Всё вокруг мелко трясётся и поскрипывает. Машина едет — привычно решаю я и тут же вспоминаю оба попадания, Леднева, разбитый телефон, синий квадрокоптер на бетоне. Память достаточно ясная, чтобы тело обязано было быть мёртвым. Тело с этим не согласное: сердце бьётся, воздух входит в лёгкие, грудь ноет, горло саднит, а запястья стянуты за спиной. Открываю глаза. Перед лицом мешковина, так близко, что отдельные волокна кажутся канатами. Не двигаюсь, сначала слушаю: скрип деревянных колёс, ровный стук копыт, позвякивание металла, шорох мешков. Впереди разговаривают двое.

— Я тебе говорю, к вечеру будет буря.

— В небе чисто.

— У меня колено ломит.

— У тебя оно после каждой попойки ломит.

— После попойки другое ломит.

Оба смеются, один басом, второй с присвистом. Голоса незнакомые, и это почему-то успокаивает. Если бы рядом опять оказался старый друг, я бы начал переживать за челове-

ство. Повозку подбрасывает. Край доски впивается под рёбра, и из горла едва не вырывается стон. Я успеваю сжать зубы. Во рту сухо. Горечь на языке становится сильнее. Химическая, травяная, с металлическим послевкусием. Яд? Возможно. В моей профессии нельзя ставить диагноз по вкусу. Особенно после смерти.

Проверяю себя по частям. Ступни свободны, сапоги на ногах, руки связаны верёвкой, плечи уже, чем должны быть, живот подтянут. Старый перелом мизинца исчез, кисти тонкие, кожа гладкая, суставы не болят. Моё тело сорок один год собирало претензии и предъявляло их каждое утро; сейчас список пуст, если не считать слабости, горла, затылка и рёбер.

Не моё тело. Мысль звучит идиотски, поэтому я не спешу спорить: за последние пять минут идиотизм показывает отличную раскрываемость. Надо увидеть обстановку.

Медленно поворачиваю голову, растягивая движение на несколько скрипов колеса. Мешок съезжает к плечу, между ним и соседним появляется щель. Вижу тёмный деревянный борт, железную скобу, колесо с металлическим ободом и сухую рыжую дорогу с глубокими колеями. По сторонам мелькает выжженная трава. Самая обычная, мать её, повозка. Можно предположить музей, историческую реконструкцию или крайне экономную реанимацию, если не обращать внимания на высокие сапоги возницы и кожаную кобуру с латунной застёжкой. На ней выбит знак — корона над раскрытой ладонью.

— Далеко ещё? — спрашивает голос с присвистом.

— До балки версты три.

— А чего не здесь?

— Потому что здесь тракт, дурень. Его найдут.

— Кто найдёт? Он никому не нужен. Род от него отказался, в школе выперли, на заставу сослали. Даже похоронных не дадут.

— Господин сказал — в балку.

— Господин много говорит.

— За разговоры он тебе язык отрежет.

— Пусть сперва рассчитается.

Повозка катится дальше. Я лежу среди мешков и принимаю новые вводные: «он» — скорее всего я; от меня отказался род, меня выгнали из школы, сослали на заставу, а теперь везут в балку, чтобы сбросить. В личном деле можно было короче: «неудачник, расходный материал». Ангар закончился, где началось это — отдельный вопрос. Главное, здесь меня тоже считают мёртвым. Преимущество небольшое, временное и пахнет овечьей шерстью, но выбирать не приходится.

Я прислушиваюсь к верёвке. Узел ближе к левой кисти, между мокрыми витками есть слабина: тот, кто связывал, не ждал сопротивления. Зачем связывать покойника — другой вопрос. Возможно, связывали до того, как он стал покойником. Разворачиваю большие пальцы внутрь; сустав отзывается болью, но проходит. Молодое тело, гибкое. Полезное приобретение, если оно действительно моё. За бортом коротко трещит разряд. На латунной застёжке кобуры пробегает синяя искра, огибает знак и исчезает в коже. Возница хлопает себя по бедру.

— Опять печать шалит.

— Сдай мастеру.

— На что? Ты мне прошлую работу не отдал.

— Я тебе не наниматель.

— Зато жрёшь за мой счёт.

Магический значок на кобуре. Я смотрю несколько секунд, затем закрываю щель мешком. Пока допустим всё. Паника — роскошь человека, у которого есть время, а у меня три версты: минут двадцать, прежде чем двое вооружённых мужчин полезут за телом и обнаружат у него возражения. Надо освободить хотя бы одну руку. Ощупываю доски пальцами. Верёвку о них за двадцать минут не перетрёшь — нужен край. Под ладонью щель и глубоко утоплен-

ная шляпка гвоздя; слева что-то металлическое касается бедра. Продвигаю кисти к пояснице. Плечи протестуют, горечь подкатывает к горлу, перед глазами темнеет. Тело либо отравлено, либо сильно избито, скорее всё сразу: на затылке шишка, в рёбрах тупая боль, на шее саднит кожа. Но сердце работает.

Пальцы находят тонкую цепочку, уходящую под бок. Я цепляю её ногтем и тяну. Что-то плоское выскальзывает из-под меня, царапает доску и тихо звякает. Разговор впереди обрывается. Я замираю.

— Слышал? — спрашивает тот, что с присвистом.

— Мешки трутся.

— Там железо звякнуло.

— У него пряжка.

— Ты снял.

— Не всю, значит, — признаёт он после паузы.

Поводья натягиваются. Колёса начинают замедляться. Чтоб тебя. Я отпускаю цепочку и снова делаю лицо покойника. Не знаю, насколько убедительно получается. Репетировать раньше не приходилось. Повозка останавливается. Скрипят доски. Один из мужчин спрыгивает на землю. Шаги обходят борт. Сапоги шуршат в пыли.

— Я гляну, — говорит присвистывающий.

— Чего ты там не видел?

— А вдруг очнулся?

— После такого яда?

— Барчуки живучие. Особенно эти, печатные.

— Он пустой. Сам видел бумагу из школы.

— Бумага одно, а родовая кровь другое.

Борт стонет под чужим весом. Мешки у ног отбрасывают, по сапогам проходит горячий воздух. Я расслабляю руки и дышу так мелко, как могу. Мешок с затылка поднимают; свет бьёт сквозь веки, пальцы хватают меня за волосы и поворачивают голову.

— Бледный, — говорит мужчина прямо надо мной. От него пахнет луком, потом и сладким табаком.

— Мёртвые обычно бледные.

— Тёплый.

— День жаркий.

Пальцы переходят к шее. Он ищет пульс и, судя по давлению, не там — нащупывает мышцу, елзит большим пальцем. Сердце решает показать лучшую работу за день. Я считаю удары и представляю лицо Леднева: помогает притворяться мёртвым убедительнее.

— Ну? — спрашивает возница.

— Не пойму.

— Потому что пальцы из жопы.

Сеня наклоняется ниже, холодный металл касается щеки и идёт вдоль скулы.

— Глаз открыть бы.

— Не трогай глаза. Господин велел, чтоб лицо целое.

Значит, хозяину нужен узнаваемый труп. Сеня цепляет металл у моего уха и замечает цепочку.

— Жетон остался.

— Я же сказал — сними всё ценное.

— Ты сказал печатку и кошель.

Пальцы лезут под воротник, цепочка натягивается. Пластина под боком ползёт к Сене; ещё немного — и он увидит связанные руки, которые лежат уже не так, как оставил. Над дорогой гремит. Не гром. Звук резкий, металлический, похожий на удар огромной струны. Лошадь

всхрапывает и рвётся вперёд. Повозка дёргается. Сеня теряет равновесие, наваливается коленом мне на бедро и хватается за борт. В небе снова трещит. Синяя полоса проходит где-то за закрытыми веками — настолько ярко, что я вижу её даже так.

— Буря! — орёт возница. — Я говорил!

— Колено твоё, значит, не пропито!

Сеня бросает мою цепочку, спрыгивает. Мешок падает обратно на лицо.

— До балки не успеем, — говорит он уже с земли.

— Успеем. Садись!

— А если накроет?

— В овраге переждём.

— Труп куда?

— Туда же, куда везли!

Повозка трогается рывком. Я ударяюсь подбородком о доску и слышу, как оба ругаются, устраиваясь на передке. Буря спасла мне жизнь и одновременно сократила время. Лошадь переходит на рысь, колёса скачут по колеям, мешки давят сильнее, верёвка режет запястья. Я снова нащупываю цепочку. Теперь знаю, что на ней жетон — ценная вещь, раз убийцы решили снять её отдельно. Пластина лежит под правым бедром; я прижимаю её к доске и разворачиваю. Край острый, не нож, но верёвке много не надо.

Пальцы скользят, цепочка путается, повозка подпрыгивает, и жетон едва не уходит между досками. Ловлю его, подтягиваю к связанным рукам — и металл неожиданно нагревается. Не от кожи: жар появляется внутри пластины, по пальцам проходит дрожь, будто кто-то далёкий перелистывает бумаги у меня в голове. Перед глазами вспыхивают тонкие золотистые буквы. Не на мешковине и не в воздухе — прямо передо мной.

МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ КОРСУНОВ

ДОЛЖНОСТНОЙ ЖЕТОН № 7–113

НАЗНАЧЕН: И. О. ДОСМОТРИКА СЕДЬМОЙ ПОГРАНИЧНО-ТАМОЖЕННОЙ ЗАСТАВЫ

Я читаю дважды. Имя ничего не говорит, должность — уже лучше. Не потому, что после смерти я мечтал продолжить карьеру: должность означает документы, место и хотя бы теоретическую власть над людьми, которые сейчас везут меня выбрасывать в балку. Внизу проступает последняя строка, на этот раз красная.

ЯВКА ПРОСРОЧЕНА НА ОДИН ДЕНЬ.

Повозка несётся по чужой дороге, за бортом грохочет синяя буря, а двое убийц спорят, успеют ли избавиться от моего тела до дождя. Я сжимаю нагретый жетон, осторожно завожу край под верёвку и продолжаю пилить. После смерти у меня снова есть работа; на первый день я уже опоздал, но до балки остаётся три версты, и это пока важнее любой служебной отметки.

Глава 2. Назначение на смерть

Жетон пилит верёвку хуже тупого ножа и лучше голого пальца, поэтому жаловаться было бы невежливо. Я веду металлическим краем туда-сюда, стараясь не ускориться на ухабах: цепочка то натягивается, то падает на доски, запястья горят, а перед глазами ещё держится красная строка о просроченной явке. Буквы уже поблекли и растворились, словно сочли уведомление вручённым, зато сам кусок металла остался тёплым. Полезная вещь. Если переживу ближайшие несколько минут, выясню, что она умеет помимо кадрового делопроизводства и порчи казённой верёвки.

Повозку трясёт всё сильнее. Игнат — имя возницы я выцепляю из ругани Сени — гонит лошадь так, будто синяя буря умеет выписывать штрафы за медленную езду. Колёса то проваливаются в сухие колеи, то с грохотом выбираются наружу; мешки елозят по спине, один сползает на голову, и под его весом приходится пилить почти на ощупь. Нити лопаются не сразу, а по одной, с тихим влажным хрустом. Верёвка пропитана потом или водой, пахнет коноплёй и чужими руками. Пальцы немеют. Молодое тело оказалось не только гибким, но и изрядно испорченным предыдущим владельцем: горечь снова поднимается к горлу, сердце несколько раз сбивается, а в висках толкается боль, будто там забыли закрыть дверь и теперь её хлопает сквозняком.

— Левее бери! — орёт Сения. — Там промоина!

— Сам вижу!

Игнат не видит. Правое колесо срывается куда-то вниз, борт резко наклоняется, и я вместе с мешками еду к щели. Жетон выскальзывает из пальцев. Цепочка удерживает его у живота, но оборванные волокна верёвки снова стягиваются, впиваются в кожу. Я прижимаю руки к пояснице и пережидаю, пока повозка, поскрипев всеми досками, вылезет из ямы. Потом нащупываю пластину. Осталось немного — не больше двух толщин, однако это «немного» вполне может пережить меня.

Впереди спорят, надо ли сворачивать в овраг. Сения хочет под скалу, Игнат боится сломать лошади ногу: господин, говорит, вычтет цену из расчёта. Сам господин сюда, конечно, не поехал. Пока это не улика, но начинать приходится с того, что есть.

Над дорогой опять натягивается невидимая струна, теперь надолго. Дрожат доски, лошадь сбивается с рыси, по мешковине бегут голубые волоски света. Они собираются на цепочке и исчезают в жетоне. Тот дёргается в ладони, но советов не даёт: кадровые вопросы — пожалуйста, спасение сотрудника в должностные обязанности не входит.

Верёвка сдаётся, когда я уже перестаю ждать. Кисти расходятся всего на ладонь, сразу упираются в мешки, но этого хватает. Я освобождаю правую руку, затем левую, растираю запястья и несколько секунд лежу неподвижно. Кровь возвращается в пальцы горячими иглами. Хотелось бы отдышаться, осмотреться, найти оружие и составить план хотя бы из трёх пунктов. Повозка и буря предлагают другой порядок.

— Стой! — Сения бьёт ладонью по передней стенке. — Стой, мать твою, камень!

Тормоз визжит. Мешки наваливаются мне на ноги, передок уходит вбок и упирается во что-то твёрдое. Снаружи ругаются уже оба. Судя по звуку, дорогу перегородил обломок скалы, а объезжать приходится по самому краю промоины. Сения спрыгивает. Его сапоги шлёпают по мокрой пыли, шаги приближаются к заднему борту.

Я успеваю обмотать освободившуюся верёвку вокруг левой ладони и спрятать жетон под рубаху. Больше ничего. Ни железной трубы, ни удобно забытого пистолета, ни доброго покойника, готового поделиться боевым опытом. Под боком мешок с чем-то сыпучим; над головой другой, туго набитый шерстью. Я подтягиваю колени и снова закрываю глаза.

Борт скрипит. Сеня забирается внутрь не со стороны головы, как раньше, а у ног, раздражённый и торопливый. Он отбрасывает один мешок, второй, хватая меня за сапог и тянет.

— Давай помогу, — доносится спереди голос Игната.

— Коня держи. Я сам.

Сеня тянет ещё раз. Моё тело скользит по доскам, пятка ударяется о борт. Он перехватывает выше, под коленом, и наклоняется, чтобы ухватить за пояс. Тогда я распрямляю обе ноги.

Удар выходит некрасивым. Левый сапог попадает ему в грудь, правый — куда-то в подбородок; Сеня ухает, валится задом на мешки и машинально хватается за то, что ближе. Ближе оказывается моя штанина. Я пытаюсь отдёргнуть ногу, он дёргает на себя, и вместо предусмотрительного нападения начинается возня двух людей в тесном ящике, где одному плохо от яда, а второй никак не поверит, что покойник нарушил договорённость.

— Игнат! Он... сука...

Договорить я ему не даю. Наматываю свободный конец верёвки на запястье Сени, провожу под локтем и тяну вверх. Рука выворачивается, но не ломается. Сеня бьёт меня второй ладонью в лицо. Перед глазами вспыхивает белое, во рту появляется кровь. Он сильнее, тяжелее и злится честно, всем телом; если вытащит нож, моя вторая служебная биография закончится на том же месте, что и первая, только протокол составлять будет некому.

Я отпускаю верёвку, ныряю ему под руку и врезаюсь лбом в нос. В ангаре этот приём уже приносил неприятности всем участникам, но выбирать не из чего. Сеня отшатывается. Я хватаю его за ворот и толкаю вниз, между двумя мешками, где он не может развернуть плечи. Коленом прижимаю кисть к доскам. Пальцы у него разжимаются; из рукава выпадает узкий нож и звякает у самого борта.

Снаружи Игнат всё-таки бросает лошадь. Слышно, как он спрыгивает и обходит повозку. Сеня хрипит подо мной, пытаюсь вывернуться. Я достаю до ножа кончиками пальцев, подтягиваю, прижимаю лезвие ему под челюсть.

— Позови его спокойно.

Он замирает не от послушания. Оценивает, успею ли я резануть, прежде чем он сбросит меня. Нож короткий, рука дрожит, сил мало. Правильный ответ мне не нравится.

— Сеня? — Игнат уже рядом с бортом. — Ты чего там?

— Скажи, что жетон нашёл, — шепчу я, чуть сильнее вдавливая лезвие. — Иначе проверим твою родовую кровь на вкус.

У него дёргается щека. Наверное, шутка плохая. Зато понятная.

— Жетон... — выдыхает Сеня. — Тут, под ним. Лезь, помоги.

Игнат ругается и хватается за борт. Сначала появляются пальцы, потом мокрая шапка и половина лица. Он видит меня не сразу: щурится в полумраке, смотрит на Сенину спину, на верёвку вокруг руки. Я успеваю подумать, что в прошлой жизни оперативники любили повторять про контроль рук. Хорошее правило. Особенно когда у противника обе свободны.

Правая рука Игната уходит к кобуре.

Я дёргаю Сеню вверх за ворот и толкаю навстречу. В тесноте они сталкиваются лбами; борт принимает общий вес и жалобно трещит. Игнат теряет опору, повисает животом на доске. Я отпускаю нож, хватаю его за запястье обеими руками и бью о железную скобу. Один раз, второй. Пальцы раскрываются, короткий револьвер падает внутрь, исчезает под мешком.

Сеня, разумеется, считает это шансом. Он поднимается на локтях и обхватывает меня поперёк живота. Рёбра отзываются такой болью, что ноги на мгновение перестают существовать. Я наваливаюсь на него сверху, цепляюсь за край мешка и вместе с ним опрокидываю на обоих. Пахнет овечьим жиром, пылью и мокрой шерстью. Игнат снаружи хватается за волосы, пытается вытащить через борт. Получается плохо: мы сцепились втроём, каждый тянет не в ту сторону, а лошадь, оставленная без руки на поводьях, пятится от очередного синего разряда.

Повозка катится.

Сначала медленно, будто раздумывает. Потом левое колесо сходит с камня, передок проваливается, и нас швыряет к заднему борту. Игнат исчезает, снаружи тяжело ударяется о землю и вскрикивает; повозка проходит ещё несколько локтей и останавливается, накренившись. Сеня оказывается под мешками лицом вниз. Я — сверху, локтем у него между лопаток, с верёвкой в правой руке. Такого преимущества в учебниках не показывают, но оно считается.

Я затагиваю петлю на его запястьях и несколько секунд просто дышу. Нос разбит, губа распухает, в затылке бьётся старый ушиб. Снаружи Игнат стонет и пытается подняться. Револьвер под мешком, нож возле колена; беру нож.

Игнат успевает встать на четвереньки. Шапка слетела, по лбу течёт кровь, но ничего явно не сломано. Он шарит рядом, ищет оружие, потом вспоминает, где его потерял, и поднимает голову. Я уже выбираюсь через борт. Прыгать не решаюсь: спускаюсь, цепляясь сапогом за ступицу, едва не падаю и всё-таки оказываюсь на земле с лезвием перед собой.

— Не дёргайся, — говорю я.

Голос звучит сипло, неуверительно. Игнат смотрит на нож, на моё лицо и ухмыляется разбитым ртом.

— Ты еле стоишь, барчук.

— Поэтому очень не хочу бегать.

Он делает вид, что поднимает руки. Левая идёт вверх, правая скользит к голени, где может оказаться хоть второй нож, хоть фляга; выяснять не хочется. Я подбираю мокрый камень и бросаю ему в кисть. Попадаю не точно — в запястье, — однако рука дёргается, из-за голени выпадает складной кастет. Игнат матерится, а я подхожу и бью рукояткой ножа в висок.

С первого удара он не падает, со второго садится в грязь и ошалело моргает. Третьего не требуется. Дыхание есть, пульс тоже; для следствия живой исполнитель полезнее, да и убивать после драки мне никогда не нравилось.

Лошадь дрожит у серого валуна, по сбруе бегают искры. Пыль уже прибило дождём, в промоине шумит мутная вода. Ехать, пока двое убийц способны очнуться, глупо; оставаться на открытом месте — ненамного умнее.

Игната связываю его же поясом и поводом от запасной упряжи. Пальцы плохо слушаются; современная память предлагает пластиковые стяжки, которых здесь не выдали. Сеня приходит в себя, когда я вытаскиваю его за ноги, пробует лягнуть и после короткой возни садится рядом с напарником. Конец верёвки пропускаю через железный обод.

— Если повозка поедет, — предупреждаю я, затагивая узел, — побежите вместе с ней. Не советую проверять.

— Тебя всё равно найдут, — бормочет Сеня. Из носа у него течёт, слова выходят гнусавыми. — До города не дойдёшь.

— Значит, поеду. Кто найдёт?

Игнат сидит с закрытыми глазами, но при слове «господин» у него напрягается челюсть.

— Кто вас нанял? — повторяю я.

— Сами решили барчука отравить, — отвечает Сеня. — По дружбе.

— Хорошая дружба. И платят за неё после работы, и лицо просят не портить.

Оба молчат. Боль заставила бы их говорить, но не обязательно правду. Мне нужны детали, которые можно проверить.

— Игнат, лошадь чья?

Он открывает глаза. Вопрос оказался не тем, к которому готовился.

— Моя.

— Врёшь. Свою ты не погнал бы в промоину. На левом хомуте выжжено клеймо. Чьё?

Игнат смотрит на лошадь, потом на меня. Клеймо я разобрать не успел, но пауза получается правильная.

- Прокатная, — нехотя говорит он.
- Где взяли?
- В Каменном Броде.
- Кто оформлял?
- Никто. Заплатили и взяли.
- Уже лучше. Как называется двор?

Сеня поворачивается к нему так резко, что верёвка натягивается. Игнат замечает и снова закрывает рот. Значит, двор приведёт к человеку. Не обязательно к заказчику, но хоть к кому-то, кто видел их до моего убийства.

— Продолжим под крышей, — говорю я. — Имущество осмотрю там же. Всё найденное оформлю как добровольно выданное. Если будете возражать — как найденное при личном досмотре. Разница небольшая, но обидная.

Буря почти час ходит по скалам и льёт тёплую воду. Мы пережидаем под нависающей плитой в стороне от дороги. Повозка и лошадь помещаются там же; убийц я привязал к задней оси, сам сел напротив с револьвером на колене. Пора понять, что мне досталось вместе с чужим телом.

Револьвер пятизарядный, тяжёлый, с латунной пластиной под барабаном. На ней корона над раскрытой ладонью. Прикосновение отзывается покалыванием и обрывком памяти о школьном тире: это разрешительная печать, оружие признаёт действительный допуск. Владелец, судя по гравировке «И. К. Дорохов», был не Игнат.

— Дорохов кто? — спрашиваю я.

Игнат не отвечает. Сенья перестаёт возиться с узлом.

В барабане четыре патрона, ствол чистый. На прикладе тёмная вмятина от печати. Казённым оружием здесь, похоже, торгуют не хуже, чем у нас служебной информацией.

Нож Сени проще. Сталь хорошая, рукоять затёрта, на пяте клеймо в виде трёх маленьких лун. Тот же рисунок повторяется на узком зелёном флаконе из внутреннего кармана куртки Игната. Флакон пуст, пробка завернута в промасленную бумагу. Я открываю её и сразу закрываю: горький травяной запах совпадает со вкусом у меня во рту.

Тело знает этот знак. Не название мастерской и не состав — только холодный каменный зал, витрину с чужими товарами и преподавателя в синем мундире, который требует не трогать таласские реактивы без перчаток. Воспоминание проходит быстро, оставляет головную боль и слово: Таласса.

— Этим меня напоили?

Сенья пожимает плечами, насколько позволяет верёвка.

— Ты сам пил.

— Конечно. Потом сам связался и залез под мешки. Здоровье берегу.

— Нам тебя уже холодного отдали, — огрызается он. — И флакон дали. Чтоб выкинуть подальше.

Игнат поворачивает к нему голову. Поздно. Сенья понимает это и зло сплёвывает себе под ноги.

— Кто отдал?

— Не знаю я имени. Человек от господина.

— Как выглядел?

— Как человек. В плаще.

— Очень поможет на опознании.

— Да иди ты.

Сеня знает мало или хорошо играет. Повозку взяли во дворе «У Долгого Саввы» у восточного въезда в Каменный Брод; меня забрали ночью с постоялого двора за городом, уже связанного и почти без дыхания. Приказ передал незнакомый мужчина в сером плаще. Половину денег выдали сразу, вторую обещали, когда тело найдут в Чёрной Балке и оформят случайную смерть. Лицо требовалось для опознания, печатку и кошель разрешили взять ради истории про ограбление, жетон с флаконом — утопить.

— Бумагу кто составит?

— Не мы, — бурчит Игнат. В разговор он вступает лишь тогда, когда Сеня окончательно путается. — В городе есть люди.

— Имена у людей бывают?

— Бывают. Нам не говорили.

Это похоже на правду: исполнителю дали место, время и одну задачу. В переднем ящике повозки лежат овёс, подкова, проволока, еда и квитанция прокатного двора. Имени нанимателя нет, зато указано время — половина третьего ночи — и отметка «оплачено предьявителем серого знака». Вместо подписи вдавлен ромб с волнистой чертой.

— Что такое серый знак?

— Пропуск, — говорит Игнат после паузы. — Княжеский. По нему на дорогах не спрашивают.

— А у вас спрашивали?

— До тебя — нет.

В его кошельке находится и сам пропуск: безымянная цинковая пластина с тем же ромбом. Не доказательство заказного убийства, но терять её не стоит. Пропуск, флакон и квитанцию я заворачиваю в ткань и убираю во внутренний карман.

Документы Корсунова лежат под сиденьем вместе с кошельком и печаткой. Кожаная папка промокла, сургуч раскрошен, но на одном конверте видна чёрная птица с ключом в клюве. Стоит коснуться герба, и виски прошивает боль.

Белый коридор. Высокие окна, солнечные прямоугольники на полу. Напротив стоит молодой человек с похожим на моё лицом, только нос чуть длиннее и рот привык улыбаться раньше глаз. Он прячет правую руку за спину.

«Миша, не делай хуже».

Воспоминание обрывается. Я обнаруживаю, что сжал папку так сильно, что ноготь продавил мокрую кожу. Сеня наблюдает за мной с любопытством, Игнат — настороженно. Видимо, лицо у покойника получилось недостаточно служебное.

— Узнал наконец, кто ты? — спрашивает Сеня.

— Пока только понял, с кем не стоит обсуждать семейные дела.

Письма читаются легче, чем я ожидал. Язык русский, числа обычные, третье мая две тысячи двадцать шестого года. Мир сменился, а отчётный период остался.

Первый документ — удостоверение личности. Михаил Аркадьевич Корсунов, двадцать два года, потомственный дворянин младшей ветви, магический ранг не подтверждён. Внизу имеется отпечаток личной печати, совпадающий с кольцом из кошелька: ключ в клюве чёрной птицы и маленькая поперечная риска, знак младшей линии. Второй документ сообщает, что решением совета Магистерской школы я исключён «за хищение старшей родовой печати, попытку незаконного доступа к защитному контуру и действия, порочащие достоинство дома Корсуновых». Ни суда, ни следствия в бумаге не упоминается. Только решение школы, согласие главы рода и предписание покинуть общежитие в течение суток.

На слове «хищение» в памяти снова что-то шевелится. Комната с разобранным письменным столом. Чужие руки держат меня за плечи. На ковре лежит раскрытая шкатулка, пустая, а в дверях тот же молодой человек с длинным носом смотрит мимо. Рядом дядя — высокий,

седой на висках — не кричит, не спрашивает, а медленно снимает перчатку, будто собирается коснуться чего-то грязного.

Этого мало, чтобы объявить прежнего Михаила невиновным. Память может лгать не хуже свидетеля, особенно память отравленного человека, которому очень хотелось считать себя жертвой. Но порядок действий знаком: сначала приговор внутри семьи, затем бумага учреждения, чтобы придать ему приличный вид. Для кражи важнейшей родовой печати удивительно мало полиции.

Третий лист — распоряжение Таможенной палаты. За неуспешную аттестацию и в счёт обязательной государственной службы Михаил Корсунов направляется на Седьмую погранично-таможенную заставу Южного края, на должность исполняющего обязанности досмотрщика. Прибыть второго мая. Жалованье — сорок два рубля в месяц, подъёмные не предусмотрены, жильё казённое «при наличии». Последние два слова кто-то подчеркнул карандашом и поставил рядом точку. Не шутку, не подпись — просто точку. В ведомствах тоже встречаются поэты.

К распоряжению приложена карта. Каменный Брод отмечен у развилки Соляного тракта. Дальше две линии: жирная чёрная ведёт к частному пропускному двору дома Одоевских и мосту через ущелье; тонкая, почти стёртая, — к государственной заставе № 7. На полях чужой рукой написано: «Движения нет. Пост числится временно действующим». Документ выдан неделю назад, бумага свежая. Место моей службы похоронили заранее, но забыли закрыть в реестре. Или не захотели.

В папке лежат семь рублей серебром, билет до Белоярска и записка без подписи: «На заставе не появляйся. Исчезни, пока дают». Чернила расплылись; я убираю её отдельно.

— Вы должны были проверить, что я умер, — говорю я, закончив осмотр. — Почему поверили человеку в плаще?

Игнат усмехается краем рта.

— Ты не дышал почти. Пульса не было.

— Искали так же, как Сеня?

— Яд верный, — отвечает он, и взгляд невольно уходит к моему карману с флаконом. — Таласский. От него и печатные дохнут.

Первую строку дела уже можно вписать без гадания: меня травили редким товаром из-за Разлома. Заказчик организовал официальное опознание, имел княжеский дорожный пропуск и предупреждал не появляться на государственной заставе. Для семейной ссоры слишком много расходов.

Можно бежать. Семь рублей, лошадь, оружие, молодой организм — для начала неплохо. Перейти в соседнюю область, назваться другим именем, найти работу, разобраться с миром без двух связанных идиотов в придачу. Эту мысль я рассматриваю честно, потому что героизм без расчёта называется иначе и обычно заканчивается табличкой на стене.

Только другого имени у меня нет. Документы Корсунова — единственное законное подтверждение, что я вообще существую. Люди, которые заказали его смерть, ждут тело; не получив, начнут искать. Дом от него отказался, школа выставила, денег почти нет. А должность, какой бы смешной она ни была, даёт адрес, казённую крышу при наличии и право задавать вопросы людям, которые очень не любят отвечать.

Кроме того, явка просрочена. Старые привычки переживают смерть лучше человека.

Я надеваю найденную под сиденьем дорожную куртку, возвращаю печатку на палец, жетон оставляю под рубахой. Револьвер ложится в кобуру Игната; разрешительная печать покалывает ладонь, но не блокируется. Четыре патрона — не армия, зато аргумент.

— Поедем на Седьмую заставу, — сообщаю я.

Сеня смеётся, потом морщится и пытается утереть разбитый нос плечом.

— Так тебя туда и везли. Только мёртвого.

— Маршрут сохраняем. Меняется способ приёмки.

После бури дорога парит. От красной земли поднимается тёплый туман, в выбоинах стоит вода цвета ржавчины, скалы блестят так, будто их покрыли лаком. Я правлю, ориентируясь по карте и подсказкам Игната; обоих пленников уложил в задней части повозки, связал ноги и накрыл мешками до груди. Не ради тайны — дождь кончился, а заработать воспаление лёгких до присяги было бы с их стороны обычной безответственностью.

С лошадьё тело Корсунова знакомо лучше меня. Руки сами держат вожжи с нужной слабостью, пятки упираются в передок, на спуске я тянусь к тормозу раньше, чем успеваю подумывать. За этим навыком не приходит ни имя учителя, ни милое детское воспоминание. Только уверенность мышц и один образ: тёмный жеребец возле каменной стены, на крупе белая пена, кто-то кричит не оглядываться. Я не оглядываюсь и сейчас. Память пусть отдаёт сведения тогда, когда сочтёт нужным; встряхивать её силой опаснее, чем Игната.

До Каменного Брода добираемся ближе к вечеру. Сначала появляются столбы государственной линии «Глас» — серые, тонкие, с медными усами наверху. Провода между ними отсутствуют. Вместо них в воздухе иногда проскакивает слабый синий огонёк, и на каждом третьем столбе висит табличка с предупреждением не приближаться во время эфирной бури. Потом у дороги возникают виноградники за каменными оградами, белые хозяйственные дома, насосные башни. Над одной башней вращается латунное колесо, собирая остатки света; рядом дымит трактор с широкими железными колёсами. Техника узнаваема ровно настолько, чтобы ошибиться в деталях.

Сам посёлок лежит в неглубокой долине. Каменные дома с плоскими крышами тесно стоят вокруг сухого русла, над ними торчат две колокольни, водонапорная башня и мачта «Гласа». Дальше красные гряды расходятся, открывая вертикальную полосу бледного света. Сначала я принимаю её за вечернее солнце между скалами. Потом полоса становится шире, и внутри на мгновение проступает тёмное небо с тремя маленькими лунами.

Седьмой Разлом.

Он далеко, в нескольких верстах, но смотреть неприятно: глаза пытаются определить расстояние и не могут. Полоса то кажется тонкой, как разрез на стекле, то уходит на такую глубину, что желудок сжимается. Вокруг неё стоят башни, тянутся дороги, видны крыши складов. Жизнь здесь построена рядом с дырой в другой мир и, судя по дыму из труб, давно перестала находить это странным.

— Глаза не сломай, — говорит из-под мешка Сеня. — Первый раз все пелятся.

— Ты тоже?

— Я здесь родился.

— Значит, пелялся раньше.

Он фыркает и затихает. Игнат с полчаса не произносил ни слова. Я несколько раз проверял: дышит, верёвки на месте. Его молчание изменилось, когда показалась долина. Не усталость — ожидание. Здесь у него люди, дорога знакомая, а у меня только карта недельной давности.

У восточного въезда тракт раздваивается. Налево уходит широкая насыпь из светлого щебня, ровная, с канавами и свежими столбиками через каждые сто шагов. Над ней стоит капитальный шлагбаум на каменных тумбах. Медная вывеска сообщает: «Княжеская дорога к Седьмому торговому двору. Содержание и охрана — дом Одоевских». За шлагбаумом выстроились семь повозок, два грузовых автомобиля на высоких колёсах и длинный крытый фургон с таласскими знаками. Служащие в песочных мундирах ходят между ними с планшетами, ставят

светящиеся отметки, собирают деньги. Будка покрашена, крыша целая, даже цветы под окном имеются. Частная граница чувствует себя хорошо.

Направо, за покосившимся каменным указателем, начинается государственная дорога. Надпись «Застава № 7» едва видна под лишайником; колея заросла жёсткой травой, по центру вырос куст. В промоине лежит сломанный столб, а первый мостик через канаву перекошен так, что одно колесо придётся пускать по голой доске. Если здесь когда-то собирали пошлину, деньги ушли раньше служащих.

Я придерживаю лошадь у развилки. Игнат под мешками едва заметно шевелится.

— Налево, — говорит он. — Через двор быстрее.

— Мне направо.

— Там не проедешь после дождя. Государева дорога у нижнего оврага размыта.

— Откуда знаешь, если ею никто не пользуется?

Он отвечает не сразу:

— Все знают.

К нашему передку подходит служащий княжеской дороги — молодой, чисто выбритый, форменная фуражка сидит слишком низко и прижимает уши. На груди латунная пластина с ромбом и волнистой чертой. Серый знак. Увидев повозку, он сначала кивает, как знакомому, потом замечает меня вместо Игната и поправляет ремень на плече.

— Проездной.

— Государственная служба, — отвечаю я и показываю назначение, не выпуская лист из руки.

Он читает шапку документа, скользит взглядом по имени и чуть отступает. Не от уважения — от неожиданности. Пальцы на ремне замирают.

— Корсунов?

Вопрос вырывается раньше, чем он успевает выбрать обращение.

— В документе обычно пишут фамилию предъявителя.

— Нам сообщили... — Он обрывает себя, смотрит на заднюю часть повозки. Мешки лежат неровно, из-под одного торчит грязный сапог Сени. — У вас груз?

— Два места. Оба заявляют, что пустые.

Сеня под мешком тихо, но выразительно ругается. Служащий слышит. Лицо у него делается осторожным.

— Частный тракт платный. Три рубля с повозки, отдельно за охранный контур. Оружие предъявить к отметке.

— Мне нужна Седьмая государственная застава.

— Дорога всё равно наша до моста.

— Судя по карте, ваша слева.

Он косится на заросшую колею и пожимает плечом.

— По той давно не ездят.

— Сегодня начнут.

К разговору присоединяется старший смены, мужчина лет сорока с красным лицом и белой пылью на сапогах. Он не узнаёт меня, зато мгновенно замечает кобуру и отсутствие дорожной нашивки на куртке. Документ читает внимательнее, проверяет сургуч большим ногтем.

— И. о. досмотрщика, — произносит он без особого удовольствия. — Не начальник заставы.

— Я тоже расстроился.

— У нас соглашение с губернией. Дорогу содержит княжеский дом, сбор утверждён.

— Покажите тариф и соглашение.

— Чего?

— Бумагу. С номером, сроком и перечнем участков. Три рубля — больше семи процентов моего месячного жалованья. Хочу знать, за что меня грабят.

Несколько возчиков в очереди поворачивают головы. Старший это замечает, и краснота расплзается к ушам. Документ он не показывает, в будку меня тоже не тащит — просто указывает на правую колею.

— Государева дорога бесплатная. Рискуйте казённой шеей, господин Корсунов. Только если завязнете, наши люди вытаскивают по двойному тарифу.

— Тогда постараюсь завязнуть подальше от ваших людей.

Я трогаю поводья. Молодой служащий отходит, но взглядом провожает повозку. На его пластине вспыхивает тонкая синяя линия и перебегает к будке. Возможно, обычная отметка, однако Игнат под мешками выдыхает с явным облегчением неудачника: он надеялся попасть налево. Теперь я уверен.

Первый мостик выдерживает. На втором приходится слезть, уложить под колесо две доски и вести лошадь за узду. Княжеская дорога всё время остаётся видна слева, иногда подходит почти вплотную, но отделена глубоким рвом и рядом невысоких каменных столбов. По ней быстро проходят автомобили, светятся дорожные печати, звенят колокольчики караванов. Наша колея петляет между кустами, спускается к мутному ручью, снова карабкается вверх. За час я встречаю один старый указатель, две дохлые телеги без колёс и каменную будку с проваленной крышей. Государство здесь присутствует в форме археологии.

Тело требует остановиться. Я не слушаю минут десять, потом всё же отвожу повозку к обочине — решение за меня принимает желудок. Успеваю отвернуться от лошади. Меня выворачивает горькой водой, мышцы живота сводит, в глазах темнеет. Когда отпускает, я сижу на мокром камне и держусь за колесо, потому что земля покачивается независимо от повозки.

— Яд выходит, — говорит Игнат. — Или кишки.

— Спасибо за медицинскую помощь.

— До заставы ещё верста. Там врача нет.

— А где есть?

Он молчит. Не хочет помогать или сам не знает. Сеня предлагает вернуться к княжеской дороге: там, по его словам, и лекарь, и пост охраны, и нормальные люди. Последнее звучит особенно убедительно из мешка с нанятым убийцей.

Я умываюсь дождевой водой из колеи, съедаю кусок их хлеба и запиваю из фляги. Хлеб плохо лезет, но через несколько минут дрожь уменьшается. В документах возраст двадцать два года; организм обязан хоть иногда оправдывать цифры. Снова забираюсь на передок.

Последнюю версту едем медленно. Солнце опускается за красные гряды, и Седьмой Разлом меняет цвет: из бледного становится бирюзовым, внутри проявляются тёмные ступени чужого города. На нашей стороне зажигаются огни торгового двора. Вспыхивает защитный контур на княжеском мосту — ровный, золотой, исправный. Государственная дорога остаётся тёмной.

Заставу я сначала принимаю за заброшенную ферму. Длинный одноэтажный дом стоит боком к дороге; штукатурка обвалилась до камня, половина окон заколочена, над крыльцом висит табличка с выцветшим орлом. Рядом — навес без части крыши, пустая рампа, весовая платформа, из которой выросла трава. Шлагбаум лежит в канаве. По двору бродит коза, хотя ближайшего жилья не видно. На дозорной башне сохранился флаг: мокрый, серый, обмотанный вокруг древка.

На карте это место обозначено жирной государственной печатью. В жизни его двадцать лет не закрывали только потому, что для похорон потребовалось бы найти ответственного. Я останавливаю повозку перед канавой, где когда-то проходила граница поста. Из здания не выходит никто. Лошадь тянется к траве, пленники затихают, а где-то под прогнившим навесом капает вода — спокойно, мерно, по-казённому. Прежде чем звать живых, я достаю назначение,

ещё раз смотрю на слова «жильё при наличии» и наконец понимаю, зачем неизвестный в плаще так старался доставить сюда именно труп.

Глава 3. Застава № 7

Коза встречает меня раньше государственных служащих. Она стоит поперёк въезда, жуёт траву между камнями и не считает повозку достаточным основанием освободить дорогу. Приходится натянуть вожжи и ждать. За канавой темнеет длинное здание заставы, под навесом качается сорванный лист кровли, вода с него падает в ржавое ведро. Из трубы не идёт дым, окна пусты. Только за дверью на мгновение мелькает чьё-то лицо и сразу исчезает.

— Приехали, — говорит Сеня из-под мешка. — Теперь кричи.

— Зачем?

— Тут иначе не выходят.

Он знает местные порядки лучше меня, но давать ему удовольствие не хочется. Я слепаю, держась за колесо, и отвожу козу за обрывок верёвки. Животное тут же пытается съесть край назначения, торчащий из кармана. Бумагу спасаю, достоинство — не полностью. После таласского яда колени дрожат, нос распух так, что дышать можно только ртом. Для первого представления вид не лучший, но начальство здесь, судя по двору, давно не показывается.

Я поднимаю перекладину, лежащую одним концом в канаве. Дерево влажное, внутри труха; шлагбаум ломается у железного кольца и остаётся у меня в руках. Коза одобрительно блеет. На этот звук дверь наконец открывается.

Мужчина выходит не спеша, с длинным карабином под мышкой. Ему около пятидесяти пяти, левое плечо держится ниже правого, лицо выжжено солнцем, на щеке старый белый шрам. Китель застёгнут не на все пуговицы, зато бляха вычищена. Он оглядывает меня, связанные ноги под мешками и сломанный шлагбаум. На последнем задерживается дольше.

— Казённое имущество, — произносит он.

— Было плохо закреплено.

— Двадцать лет держалось.

— Значит, ждало ответственного.

Мужчина переводит взгляд на мою кобуру, карабин разворачивается на несколько градусов. За его спиной появляется худой парень с большой книгой. На вид ему восемнадцать, хотя тело Корсунова подсказывает: девятнадцать, Фёдор Карпов, писарь. Память не даёт лица, только строчку из списка, который прежний Михаил где-то видел.

— Назовитесь, — говорит мужчина.

— Михаил Аркадьевич Корсунов. Направлен Палатой исполняющим обязанности досмотрщика. Явка была вчера, но по дороге возникло затруднение.

Сеня под мешком кашляет и начинает смеяться. Получается гнусаво. Мужчина слышит, подходит к заднему борту и откидывает край ткани. Игнат смотрит на него исподлобья; у Сени лицо покрыто засохшей кровью, руки обоих связаны за спиной, верёвка проходит через обод колеса.

— Это затруднение? — спрашивает мужчина.

— Его исполнительная часть.

Документы протягиваю левой рукой, правую держу на виду. Он не спешит брать: сначала смотрит на сургуч, потом на личную печать у меня на пальце и только после этого принимает папку. Читает молча, губами не шевелит, страницы не пропускает. Фёдор вытягивает шею из-за плеча, и старший отодвигает его локтем, даже не оборачиваясь.

— Гавриил Петрович Сычёв, старший досмотрщик, — представляется он, возвращая бумаги. — Начальником заставы вас не назначили.

— В курсе. У вас начальник есть?

Сычёв не отвечает сразу. Смотрит на флагшток, где мокрая серая тряпка обмоталась вокруг древка. Теперь я понимаю, что это не флаг, а рубаха.

— По бумагам должность временно свободна.

— А по жизни?

— По жизни тоже.

— Тогда спор о кресле отложим до появления кресла. Мне нужно помещение с запором, связь с городским приставом, вода и двое свидетелей осмотра задержанных.

Фёдор раскрывает книгу прежде, чем Сычѳв успевает ответить. Между страниц торчат квитанции, бланки и засушенный лист винограда.

— Помещение временного содержания исключено из табеля в две тысячи двадцать третьем году, но угольная кладовая имеет отдельное окно и дверь. Запор утрачен по акту, цепь от колодца на балансе присутствует. Связь... связь условно действующая. Вода есть в колодце, но пить её нельзя.

— Почему?

— Потому что можно умереть, — говорит Сычѳв.

— Это я сегодня уже пробовал. Другой воды нет?

— Дождевая в бочке.

Из-под крыльца доносится нетрезвое покашливание. Там сидит третий служащий — костлявый, обветренный, в распахнутой шинели; фуражка закрывает глаза, бутылка зажата между сапогами. До сих пор я принимал его за брошенную одежду. Он приподнимает козырёк одним пальцем.

— А я с утра не на смене.

— Вы с какого утра?

Он моргает, решая, есть ли в вопросе ловушка, и наконец выбирает: «С завтрашнего».

— Ефим Сухов, сторож, — вполголоса сообщает Фёдор. — По штатному расписанию ещё конюх и младший стражник, но эти ставки совмещены. То есть должны совмещаться. Приказ не подписан, потому что печать...

— Потом, Фёдор Ильич.

Парень замолкает, прижимая книгу крепче. Сухов тем временем замечает жетон у меня на груди. Пьяная расслабленность с него не исчезает, но глаза становятся внимательными. Он ставит бутылку под ступеньку и поднимается, прикрываясь шинелью.

— Господин Корсунов, выходит. А мы вас вчера ждали.

— Кто «мы»?

— Застава. Кому ж ещё.

— Откуда знали, что я светловолосый?

Вопрос беру наугад. В назначении примет нет, на пост я не писал. Сухов проводит ладонью по небритой щеке; секунду назад он смотрел на мои волосы, теперь старательно смотрит в землю.

— Дворян в школе всех одинаково стригут.

— Меня из школы выгнали неделю назад. Хорошо новости ходят по дороге, которой никто не пользуется.

Сычѳв чуть поворачивает голову. Не ко мне — к сторожу. Сухов понимает это и сердится раньше, чем его успевают обвинить.

— Люди говорят. Я что, уши должен воском залить?

— Нет. Сейчас вы отвѳдите лошадь под навес, потом останетесь у угольной кладовой. Если один из задержанных выйдет до приезда пристава, пойдѳте вместо него.

— Я сторож, а не городской.

— Тем более потренируетесь по специальности.

Сухов хочет возразить, но Сычѳв протягивает ладонь и ждѳт. Сторож отдаѳт бутылку, запахивает шинель и берѳтся за уздечку. Игнат следит за ним слишком внимательно. Перед

тем как повести лошадь, Сухов касается левого уха; Игнат опускает взгляд. Жест может ничего не значить. В моём прошлом половина хороших дел начиналась именно с таких вещей.

Сеня оживает, когда Сычёв перерезает верёвку у обода и велит обоим спускаться.

— Этот барчук нас ограбил! — Он ставит ноги на землю, морщится, но голос сразу становится громче. — Избил, связал, деньги забрал. Мы его с дороги подобрать хотели, а он ожил и ножом тычет.

Сычёв прищуривается, ещё раз оглядывая связанные ноги.

— Покойника подобрали?

— Думали, больной.

— Поэтому под мешки положили.

— От бури!

Сычёв смотрит на небо, где между туч уже пробивается вечерний свет, затем на верёвочные следы у меня на запястьях. Никакого сочувствия на лице не появляется. Он просто меняет положение карабина и кивает в сторону пристройки.

— Пойдёте сами или волоком?

Игнат идёт первым. Сеня задерживается возле меня и цедит так тихо, чтобы слышал только я:

— Думаешь, здесь свой? Он тебя продаст дешевле нас.

— Зато по ведомости.

Он кривится разбитым ртом. Фёдор уже тащит из сарая тяжёлую цепь, спотыкаясь о подол форменного сюртука. Сычёв ставит пленников в угольную, проверяет окно, обматывает цепь вокруг дверной скобы и запирает маленьким навесным замком, который писарь всё-таки нашёл среди бланков. Сухова у двери нет.

— Коня отвёл, — говорит Фёдор, оглядывая двор. — Наверное, за водой пошёл.

Под навесом лошадь жуёт овёс. Седло и упряжь сняты аккуратно, повозка подперта камнем. За конюшней открыта калитка, ведущая к заросшему склону. В грязи отпечатались каблуки. След уходит вниз, к виноградникам, и уже на камнях теряется.

— Часто он за водой без ведра ходит?

Сычёв стягивает губы. Ответить ему мешает не незнание.

— Вернётся, когда проспится.

— Куда он мог побежать?

— В Каменном Броде пять кабаков, три постоянных двора и одна жена, которая его не пускает. Выбирайте.

Бежать следом я не могу. Даже дойти до калитки удаётся только потому, что Фёдор делает вид, будто случайно оказался рядом. Мир начинает темнеть по краям, во рту возвращается горечь. Сычёв замечает, снимает с крыльца жестяную кружку, ополаскивает её дождевой водой и протягивает мне.

— Сядьте, Корсунов. На мертвеца вы уже похожи. Второй раз за день может не получиться.

— Сначала связь.

— Фёдор вызовет пристава. Вы будете писать, Федя?

Через минуту Фёдор уже крутит рукоять старого аппарата «Глас», а я сижу на ступеньке и промываю губу. Сычёв приносит тряпицу и банку со спиртом. Когда я достаю зелёный флакон, серый пропуск и квитанцию, он узнаёт знак трёх лун, но лицо меняется всего на мгновение.

— Таласса?

— Здесь половина вещей оттуда.

— Яд тоже?

— Я не лекарь.

Он смачивает тряпицу и без предупреждения прижимает к рассечённой губе. Перед глазами вспыхивает ярче, чем во время бури.

— А предупреждать?

— Вы же начальствовать приехали. Должны любить неожиданности.

За стеной Фёдор кричит в медную трубку, что у него двое задержанных, один новый досмотрщик, один пропавший сторож и предположительно попытка убийства. Потом пугается собственной формулировки и начинает объяснять всё заново. Сычёв слушает, придерживая мою голову за затылок, и впервые за вечер почти улыбается.

Пристав обещает прислать людей в течение часа. Этого хватает, чтобы начать приём имущества, хотя Сычёв предлагает дожидаться утра и человека из Палаты. Я соглашаюсь и прошу ключи. Он молча смотрит на меня, оценивая, можно ли оглушить назначением по голове без новых служебных неприятностей.

Канцелярия занимает две комнаты. В первой стоят три стола, шкаф с перекошенными дверцами и печь, забитая прошлогодней золой. Над средним столом течёт крыша; под струйкой расставлены таз, ведро и супница с отколотой ручкой. Вторая комната считается архивом. Там часть потолка обрушилась на шкаф и накрыла его досками. На стене висит старый план: две досмотровые линии, оружейная, склад, конюшня, водокачка и семь жилых комнат. Сейчас пригодны две, водокачки нет, а одна досмотровая линия обозначена во дворе кустом.

— Акт приёма составляли?

Фёдор достаёт из книги три бланка с разными шапками и принимается объяснять, что новый циркуляр пришёл без приложения, а Палата на январский запрос не ответила.

— Берём ту, где больше места для недостачи.

Фёдор нерешительно улыбается, решив, что это шутка. Потом видит лицо Сычёва и перестаёт.

Начинаем с печати заставы. По описи она хранится в железном ящике под двумя замками. Ящик находится под столом, один замок выломан, второй открывается ключом Фёдора. Внутри лежат деревянная рукоять и две половины латунного круга. Корона расколота точно посередине, раскрытая ладонь лишилась двух пальцев. Края разлома светлые, почти без окиси.

Печать, по словам Сычёва, раскололась этой зимой. Точного числа нет, акта тоже. Фёдор шевелит губами, но молчит.

— Государственную печать разбили и не составили акт?

Сычёв берёт половину круга, поворачивает к лампе. Его пальцы на металле лежат осторожно, почти бережно.

— Кому отправлять акт? Палата письма возвращает, корпус велит обращаться через форт, форт требует действующую печать. Мы и обратились. По кругу.

— Кто присутствовал?

— Я. Карпов. Сухов.

— Кто держал молоток?

Фёдор роняет перо. Сычёв медленно кладёт половину обратно.

— Она лопнула на документе.

— Тогда след был бы по краю отиска, а не на рукояти. Здесь ударили сбоку. Записывайте: «Причина повреждения не установлена, прежний акт отсутствует». И отдельно — кто имел доступ.

— Вы с первого часа решили уголовное дело собрать? — Сычёв говорит тихо, но в тесной комнате голос становится тяжелее. — Крыша на голову упадёт раньше, чем найдёте виновного.

— Крышу тоже запишем.

В оружейной за толстой дверью — пустая стойка, ветошь, два шомпола и мышинный помёт. По книге здесь должны храниться шесть магазинных винтовок, два карабина, четыре револьвера и восемьсот патронов. Оружие числится полностью. На стойках сохранились номера, ремни срезаны, ящик для патронов пахнет свежим маслом.

Сычёв утверждает, что форт забирал оружие частями, по требованиям майора. Ни накладных, ни самих требований не сохранилось.

Он проводит большим пальцем по ремню своего карабина. Оружие старое, на прикладе выжжены буквы «Г. С.», государственной пластины нет. Личное или хорошо очищенное от признаков.

— Не сохранилось.

— Тогда шесть винтовок, два карабина, четыре револьвера и восемьсот патронов не представлены. Ответственный по книге — вы.

— Пишите.

Слово звучит равнодушно, но челюсть у него напряглась. Фёдор выводит каждую цифру медленнее обычного. Я не давлю дальше: оружие не вернётся от громкого голоса, а Сычёв не похож на человека, который продал двенадцать стволов и потратил деньги на новую жизнь. У него сапоги подшиты проволокой.

Из оружейной идём к складу изъятого. Замок там цел, ключ всё-таки находится у Сычёва на отдельном кольце. Внутри два пустых стеллажа, бочка с песком и один ящик под старым целым оттиском печати. На крышке написано: «Чай таласский, сомнительный, двенадцать фунтов». Дата — прошлый август.

— Почему не уничтожен и не передан?

— Потому что сомнительный, — отвечает Сычёв. — Если признают чаем, уничтожение незаконно. Если не чаем — нельзя везти без охраны. Охраны нет.

— Что внутри?

— Мыши знают. Мы не вскрывали.

Ящик оставляю до утра. Таласского товара на сегодня достаточно во мне самом. Фёдор записывает состояние пломбы и дважды пересчитывает гвозди на крышке, будто от этого зависит его допуск к жизни.

Колодец находится за конюшней, в низине. Сычёв не хочет опускать ведро, но я настаиваю. Фёдор приносит из конюшни жёсткий канат; поднимаем втроём, ворот скрипит, из глубины тянет медью и гнилыми яблоками. На поверхности воды переливаются синие разводы. В ведре плаваетдохлый жук; панцирь побелел, словно его выварили.

— Когда отравили?

— После зимней оттепели, — отвечает Фёдор, прежде чем Сычёв успевает остановить. — Сначала вкус изменился. Потом коза соседского мальчика напилась и легла. Мы отправили пробу в городскую лечебницу, там велели не пользоваться до очистки. Очистка по смете стоит тридцать восемь рублей и шестьдесят копеек без доставки фильтра.

Анализ оплатил Сычёв. Источник загрязнения лечебница не установила.

За колодцем склон поднимается к княжеской дороге. На мокрой земле видна узкая канава; вода стекает сверху, огибает старый склад и уходит прямо к срубу. По светлому щебню на краю канавы ползёт такая же синяя плёнка. Чтобы понять направление, Реестр не нужен.

— До строительства насыпной дороги вода была чистой?

Сычёв поправляет ворот, не глядя на склон.

— Была.

— Жалобу подавали?

— Три раза. Дом Одоевских прислал мастера. Мастер написал, что течение подземное и дорога ни при чём.

— А вы согласились.

— Я не гидролог.

— Зато жук убедительный.

В акт входит колодец, канава и направление стока — без вывода о виновнике. Фёдор уточняет, следует ли записать погибшую козу: хозяин требует пять рублей, Сычёв помнит три. Они спорят о породе и впервые за вечер звучат как люди, которые давно служат рядом. Оставляю в черновике три рубля до предъявления козы.

Сумерки окончательно заполняют двор, когда возвращаемся в канцелярию. Аппарат «Глас» потрескивает на стене; пристав задерживается. В угольной Сеня требует воды и врача. Ему дают дождевую воду через решётку, Игнат пьёт молча. Сухов не появляется.

Последним беру журнал досмотров. Толстая книга начинается семь лет назад, заканчивается сегодняшним числом. Записей мало: «движения нет», «дорога закрыта», «осмотр не проводился». Под каждой стоят фамилии дежурных. Сычёв, Сухов, прежний начальник, двое людей, которых уже нет в штатной книге. Почерк один и тот же — аккуратный, чуть наклонённый вправо, с особенной верхней петлёй у буквы «д».

Я кладу рядом акт приёма, который Фёдор пишет сейчас. Петля совпадает.

Писарь замечает первым. Перо висит над строкой, на кончике собирается капля чернил.

— Объясните.

— Журнал вёл я, — говорит он.

— За всех?

— Не совсем. То есть записи делал я, но сведения сообщали дежурные. Подписи... подписи иногда ставили потом.

— Здесь подпись человека, которого нет в штате два года. Дата прошлой недели.

Фёдор краснеет до ушей. Сычёв остаётся у окна, повернувшись к нам боком.

— Если оставить строку пустой, пост признают неработающим, — быстро объясняет парень. — По циркуляру тринадцать-д закрытие журнала более чем на тридцать дней является основанием для ликвидации временного поста. Тогда имущество передают корпусу, штат увольняют без сохранения места, а архив... архив должны вывезти. Мне сказали писать ежедневные отметки. Движения ведь действительно не было.

— По государственной дороге не было. У княжеского шлагбаума сегодня стояли семь повозок и два автомобиля.

— Это другой пропускной двор.

— В трёхстах шагах от нашей черты.

Сычёв отходит от окна и садится напротив. Движения у него медленные, плечо явно болит, но усталость не делает взгляд мягче.

— Вы хотели заставу, Корсунов. Вот она. Государева дорога размылась, колодец испорчен, оружие взял форт, жалованье не приходит с января. Люди едут там, где есть мост, охрана и свет. Мы не можем досматривать груз на чужой земле.

— Почему тогда пост не закрыли законно?

— Спросите тех, кто не отвечает на письма.

— Я спрашиваю тех, кто подделывает подписи.

Фёдор втягивает воздух. Сычёв кладёт ладонь на журнал, закрывая страницу.

— Подделывал я. Федя писал по приказу. Хотите человека для акта — вписывайте меня.

— Уже вписал. Но ваша подпись здесь тоже нарисована его рукой.

— У меня пальцы зимой не разгибаются.

— А летом?

Он смотрит прямо, без вызова. Ложь у Сычёва некрасивая, вынужденная; он и сам ей не верит. Дальше давить сейчас бессмысленно. Мне нужно понять, что они защищают: место, себя или чужую дорогу.

Снаружи наконец рычит мотор. Свет фар проходит по потолку, в стёклах дрожат золотые отблески. Во двор въезжает низкий служебный автомобиль с короной на дверце; кристаллический накопитель под капотом звенит после каждого толчка. Из машины выходят трое городских и полный мужчина в мятом плаще. Он предъявляет бляху пристава, называет себя Акимом Львовичем Тереховым и первым делом просит показать задержанных, а не мои документы. Правильный порядок мне нравится.

Осмотр занимает полчаса. Терехов записывает ссадины Игната, сломанный нос Сени, мои ушибы и следы верёвки. Сеня рассказывает, как подобрал больного дворянина и получил за милосердие ногой в лицо. Игнат говорит о дорожной ссоре, пока пристав не показывает квитанцию «У Долгого Саввы». Тогда он требует поверенного.

Зелёный флакон, серый пропуск, записку из папки и револьвер я вношу в отдельную опись. Терехов хочет забрать всё вместе с пленниками. Я отдаю ему копию дорожной квитанции и нож Сени, но таласский флакон оставляю: ввоз запрещённого вещества и покушение на назначенного служащего относятся к делам Палаты. Револьвер с гравировкой Дорохова тоже остаётся на заставе до установления владельца. Терехов недоволен, однако спорить соглашается только письменно. Фёдор оживляется и тут же выдаёт ему бланк разногласий в двух экземплярах. Пристав решает, что четыре патрона не стоят ещё часа.

Оружие и флакон кладём в тот самый железный ящик. Государственной печати нет, поэтому я запечатываю замок обычным сургучом и ставлю личный отпечаток Корсунова. Фёдор и Сычёв расписываются поперёк бумажной ленты. Моя рука дрожит; птица с ключом выходит смазанной, но различимой.

— До утра схватится. — Терехов пробует сургуч ногтем, оставляет на нём светлую царапину. — Дальше пусть Палата с корпусом решают, чьё это несчастье. Двоих ваших попутчиков по разным камерам?

— Раздельно. И проверьте двор «У Долгого Саввы», пока хозяин не хватился лошади. Посмотрите, что там лежало до бури.

Пристав косится на конюшню, где лошадь с чужим клеймом спокойно дожёвывает казённый овёс, и морщится.

— Повозку не трогайте. Хозяина вызовем сюда, если не сбежит.

Игната выводят первым. Он смотрит только под ноги. Сеня уже на пороге выворачивает шею и находит меня единственным целым глазом.

— Ночью всё равно придут.

Терехов толкает его в спину. Сеня упирается каблуками, успевает сказать ещё:

— Старик тебя уже продал. Осталось узнать, почём.

Сычёв стоит сбоку с рукой на ремне карабина. Отпускает, когда автомобиль уже дёргается к дороге.

Мотор стихает за поворотом. Фёдор заново пересчитывает листы, Сычёв относит цепь к колодцу. Железо волочит по камням и звучит нарочно громко.

— По три рубля с повозки, — говорю я ему в спину. — Дорога княжеская, а молчание обычно покупают у тех, кто присягал не князю. Сколько в конверте, Гавриил Петрович?

Фёдор вдруг очень занят переключиванием кляксы из одного края листа в другой. Сычёв ещё секунды три возится с цепью. Потом отпускает её в корыто, разминает больное плечо и только тогда смотрит на меня.

— Кто вам сказал, что он есть?

— Вы сейчас. Сухов, который побежал докладывать. Игнат, уверенный, что на чужой дороге его примут. И вы весь вечер рассказываете, почему пост не работает, хотя о деньгах я ещё не спрашивал.

Фёдор смотрит в стол. Сычёв отвечает без оправданий:

— По субботам приносят конверт. От двенадцати до двадцати рублей, смотря по движению. Мальчишки каждый раз разные. Пять оставляем на еду и керосин, три Карпову, два Сухову. Остальное мне, если остаётся.

Фёдор вскидывает голову.

— Я не беру себе. Я отправляю матери.

— Это называется «себе», Фёдор Ильич. Просто причина лучше.

Он сжимает губы и больше не спорит. Сычёв вытаскивает из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист. В нём шесть серебряных рублей и мелочь.

— За прошлую неделю. Ваша часть была бы половина. Новый человек всегда получает больше, пока не привыкнет.

— Уберите.

— Жалованья четыре месяца нет. Завтра вам понадобится вода, еда, замок на оружейную и человек, который починит крышу. Свои положите — хватит на дверь и, может быть, не украдут гвозди. Палата денег не пришлёт. Княжеский двор пришлёт в субботу.

— Поэтому вы решили начать знакомство честно?

— Я решил не смотреть, как вы неделю изображаете удивление, а потом спрашиваете, где конверт. Здесь все спрашивали.

Сычёв не предлагает дружбу и не пытается понравиться. Он устал ждать следующего временного начальника, который сначала произнесёт речь, потом возьмёт деньги, а перед отъездом свалит недостачу на старика. В этом расчёте есть опыт. Ошибка только одна.

— Я не возьму.

— Сегодня?

— Вообще.

— Тогда Федя уйдёт. Ему девятнадцать, мать и две сестры в городе. Сухов уже ушёл. Я останусь, потому что дурак старый. Втроём вы будете охранять пустой шкаф от козы, пока форт не заберёт последнее.

Фёдор открывает рот, но я поднимаю ладонь. Уговаривать его оставаться сейчас было бы тем же взяточничеством, только без денег.

— У меня семь рублей. Два внесём как временный заём на продовольствие и питьевую воду. Под расписку заставы, без процентов. Остальные не трогаем до сметы. Завтра отправим повторное требование о жалованье, отдельно — уведомление о приёме поста с недостачей, загрязнении колодца и расколотой печати.

— И всё починится?

— Нет. Завтра у нас по-прежнему будет дырявая крыша и двенадцать пропавших стволов. Зато не появится ещё один человек, которому мы обязаны молчать.

Он постукивает ногтем по серебряному рублю, затем заворачивает деньги обратно. Не убеждён. Хорошо: мгновенно перевоспитываются только покойники, и то не все.

— Здесь должностную присягу как принимают?

Фёдор моргает.

— Служебную? Нет. То есть школьную приносил, когда зачисляли в штат, но должностная совершается перед начальником поста или признанным пограничным камнем. Начальника нет, камень молчит с тех пор, как печать...

— Книга присяги есть?

— В архиве.

Сычёв смотрит на меня внимательнее.

— Без целой печати камень может не признать.

— Тогда завтра уеду искать целую. Но сегодня хочу хотя бы законно опоздать.

Книгу вытаскиваем втроём. Балка прижала её к шкафу, а кожа разбухшей обложки присосалась к доскам. Фёдор обтирает застёжки рукавом и разлепляет страницы. Яти ему не мешают; меня же от них захлёстывает чужой школьной тоской.

Фёдор читает присягу как опись, только спрашивают не с винтовок, а с тебя. Хранить границу, имущество и договоры. Не брать изъятые. Отвечать за чужие полномочия. Частную волю не ставить выше закона. Ниже другой рукой приписано: «Реестр не жалуется. Реестр признаёт удержанное».

— Это кто же такой щедрый?

— Не «кто». — Фёдор начинает листать и тут же доходит до двух листов, вырванных с мясом. Палец замирает над обрывком. — Это учётный контур, ещё до Палаты. В школе говорили, что без мастер-печати он мёртвый.

— Как наш колодец, — говорит Сычёв.

Слово «мастер-печать» открывает чужое воспоминание: высокие окна, запах мела, золотой круг на доске. Прежний Михаил знает ответ, но преподаватель вызывает Кирилла. Мне достаётся его стыд и злость на себя за то, что не поднял руку.

Я захлопываю книгу громче, чем следовало. Фёдор забирает её, пока я не доломал и это государево имущество.

Камень ищем дольше, чем хотелось бы троим мужчинам и одной лампе. Сычёв помнит только «где-то у рампы». Фёдор наступает на гранитный край, чуть не падает и обиженно пинает лопухи.

Под землёй оказывается гранитная тумба с металлическим верхом: корона над раскрытой ладонью. Сычёв вычищает бороздки, Фёдор держит лампу, я лью дождевую воду и стараюсь не думать, что это последнее, что нам можно пить.

Круг под шёткой цел. Трещина идёт ниже и теряется в земле. На горизонте в бирюзовом свете Разлома проступают три луны. Фары автомобиля с княжеской дороги на миг выхватывают нашу сгнившую рампу, потом снова остаётся одна лампа.

— Свидетелей двое достаточно?

— По старому уставу — да, — отвечает Фёдор. — Один должен быть старше по службе, второй ведёт запись. Если камень примет, подписи можно поставить утром.

— Удобный обряд.

— Раньше на границе люди не всегда доживали до утра, — говорит Сычёв.

Он произносит без мрачного удовольствия, как сообщение о погоде. Я кладу на камень назначение, сверху — должностной жетон. Латунь остаётся холодной. Личную печать Корсунова снимать не хочется: после воспоминаний о пустой шкатулке любой родовой металл кажется частью чужого дела. Всё же снимаю кольцо и ставлю рядом.

— Ладонь на знак, — подсказывает Фёдор. — Текст можно читать по книге.

— Запомнил.

Слова простые. Именно простые слова обычно труднее всего произнести, если понимаешь цену. В прошлой жизни я служил закону, которым Леднев прикрывал контрабанду, а его начальники — отсутствие проверки. Здесь закон пока представлен отравленным колодцем, поддельным журналом и двенадцатью пропавшими стволами. Присяга не делает инструмент честнее. Она только оставляет на нём мои отпечатки.

Я кладу ладонь на холодный металл.

— Я, Михаил Аркадьевич Корсунов, принимая службу на Седьмой погранично-таможенной заставе, клянусь хранить государеву границу, имущество и договоры Империи; изъятые не

обращать в личную пользу, частную волю не ставить выше закона и отвечать за полномочия, доверенные мне и моим людям.

Ничего не происходит. Где-то в кустах стрекочет насекомое. Фёдор перестаёт дышать, Сычёв смотрит на камень с выражением человека, который ожидал именно этого и всё равно разочарован.

— Должность назовите, — шепчет писарь.

— Присягу принимаю как исполняющий обязанности досмотрщика заставы № 7. С третьего мая две тысячи двадцать шестого года.

Круг под ладонью поворачивается.

Не сам металл — насечка внутри него. Корона медленно отделяется от раскрытой ладони, между ними проступает тонкая золотая линия. Она проходит под пальцами, обжигает печатку на камне, жетон и старую трещину в граните. В глубине заставы отвечает тяжёлый удар. Потом второй. В окнах на мгновение вспыхивает синий свет, хотя электричества в здании нет.

Жетон приподнимается на цепочке и бьётся о камень. Перед глазами появляются строки — не в воздухе и не на металле, а там же, где вчера проступило назначение.

СЕДЬМАЯ ПОГРАНИЧНО-ТАМОЖЕННАЯ ЗАСТАВА

ДОЛЖНОСТНАЯ ПРИСЯГА ПРИНЯТА

СТАТУС: И. О. ДОСМОТРСИКА

ЮРИСДИКЦИЯ: ВНУТРЕННЯЯ ЧЕРТА ПОСТА

ДОСТУПНО: ОСМОТР I

ДОСТУПНО: КАЗЁННАЯ ПЛОМБА I

Вместе с последней строкой меня сгибает. Яд, усталость и камень наконец договариваются между собой. Фёдор успевает подхватить под локоть, Сычёв отрывает мою ладонь от круга и усаживает прямо на мокрую землю. На коже остаётся тёмный незамкнутый ободок. Не ожог — пальцы двигаются, боли нет, только глубокая дрожь идёт от запястья к плечу.

Фёдор опускается рядом прямо в грязь, но не замечает тёмного пятна на светлых брюках.

— Там были буквы? Камень вас принял?

Я отвечаю не сразу. Рот после присяги пересох, и во рту медный привкус. Сычёв держит меня за плечо крепче, чем нужно, и ждёт молча. Он уже не похож на человека, который считает старый обряд пустой канцелярщиной.

— Принял. Назвал меня исполняющим обязанности. Ещё показал границу поста и два слова: осмотр, пломба.

— С какого циркуляра? — Сычёв произносит это почти обиженно. — Нет таких полномочий.

— Теперь есть. Правда, пока без инструкции.

Золотые строки растаяли, но двор не становится прежним. К ободку на ладони будто привязали нить и обвели ею заставу. За конюшней, у канавы и под рампой нить порвана. За пределами двора — обрыв. Не власть и не оружие, а плохо затянутая петля, и отвечать за неё мне.

Мысль об осмотре приходит сама. Камень под локтем будто вздрагивает, и строки возвращаются.

ОБЪЕКТ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАСТАВА № 7

СОСТОЯНИЕ: АВАРИЙНОЕ

ПРИЗНАННОЕ ИМУЩЕСТВО: ЧАСТИЧНО

НАРУШЕНИЯ УЧЁТА: МНОЖЕСТВЕННЫЕ

Казённый Реестр докладывает почти как Фёдор: всё записано, а что делать — решай сам. «Аварийное» я и без него успел заметить. Фёдор ловит мой взгляд, будто буквы могут отразиться в зрачках. Сычёв смотрит на рампу.

Внизу проступает красная строка.

НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ЖИВОЙ ОБЪЕКТ ВНУТРИ ЧЕРТЫ ПОСТА: 1

Пересчитываю всех, кого успел увидеть во дворе. Сухов сбежал, Сеня с Игнатом у Терехова. Лошадь внесена в акт, коза ушла. Остаёмся мы трое.

— Вы здесь ещё кого-то прятали? — спрашиваю я.

Фёдор даже оглядывается. Сычёв не смотрит никуда, продолжает следить за рампой. Это и есть ответ. Под прогнившими досками негромко звякает металл. Один короткий звук и тишина. Будто тот, кого мы там не задекларировали, поворачивается на другой бок и собирается спать дальше.

Глава 4. Груз без веса

Металл под рампой звякает ещё раз, когда мы все трое молчим. Звук приходит снизу — негромкий, чистый, совсем не похожий на крысу, камень или лопнувшую доску. Фёдор прижимает книгу присяги к груди и пятится от края, едва не наступив на лампу. Сычёв, наоборот, наклоняется над щелью между прогнившими плахами, но карабин с плеча снимает раньше, чем успевает заглянуть. Я продолжаю сидеть на мокрой земле у пограничного камня. Подняться сразу мешает дрожь в руках: присяга выжала из тела остатки сил, которые не забрал таласский яд, и теперь молодой организм мелко трясётся, будто хочет стряхнуть меня обратно.

— Сколько у нас лопат? — спрашиваю я.

Сычёв смотрит на тёмный провал под рампой, потом на меня.

— Одна с половиной.

— А людей?

— Примерно столько же.

Фёдор обиженно кашляет. Пока человек способен язвить, ночь ещё не окончательно испорчена. Я опираюсь ладонью о гранит, пережидая, пока двор перестанет уходить набок, и поднимаюсь. Ободок на коже тянет к рампе, как короткая нить: теплеет, если смотрю в нужную сторону, но не объясняет, что там лежит. Казённый Реестр, как хорошая служебная инструкция, указывает проблему и предлагает дальше проявить сознательность.

Половина рампы держится на честном слове, вторая — на сорняках. Из сарая Сычёв приносит две лопаты: одну с обломанным черенком, другую с полотном на проволоке. Мне достаётся короткая. Фёдор ставит лампу на весовую платформу и суётся помогать с ломом, но старик забирает у него железо.

— Книгу держи, писарь. Если нас придавит, запишешь, что начальство погибло при попытке поднять государство с пола.

— Я не смогу быть свидетелем, если меня тоже придавит.

— Тогда отойди. Видишь, уже пользу приносишь.

Под досками набилась красная глина со щебнем и мышинными костями. Первую плаху снимаем вдвоём, вторую ломаем; вырванный гвоздь едва не вспарывает Сычёву ладонь. Он ругается на строителей и прежнего начальника. Я работаю медленнее: сердце колотится, во рту густеет горечь, лопата тяжелеет после каждого движения. Старик ничего не говорит, просто перехватывает больше земли на свою сторону. Удобная форма жалости, не требующая благодарности.

— Вы говорили, здесь дренаж, — напоминает Фёдор, когда яма уходит почти по колено.

— Здесь всё когда-нибудь было чем-нибудь, — отзывается Сычёв. — Вон там водокачка была. Под кустом — вторая линия. Сухов тоже человек был.

— Он ещё не уволен.

— Потому и говорю в прошедшем времени осторожно.

Металл появляется под слоем спёкшейся глины. Сначала округлая пластина, потом шарнир и три длинных когтя. Фёдор перестаёт спорить. Я счищаю землю пальцами, вижу латунную лапу размером с мою ладонь и отдёргиваю руку, когда сустав под ней едва заметно поворачивается. Не бросается, не хватает — просто оседает удобнее, будто предмету надоело лежать на одном боку.

— Живое, — шепчет Фёдор.

— Реестр предупреждал.

— Реестр мог бы уточнить, что оно железное.

— Латунное, — поправляет Сычёв. — И не трогай.

Дальше копаем уже без разговоров. Под восточным краем ramпы лежит пёс — если считать псом корпус из потемневших пластин, четыре шарнирные лапы и вытянутую морду без пасти. Размером с небольшую овчарку, весом, судя по нашим попыткам сдвинуть, с хорошего телёнка. Одно ухо отломано, второе вжато в голову. Глазницы затянуты мутным стеклом, между рёбрами набилась земля. На лбу круглая выемка, покрытая зелёным налётом; под грязью видны остатки насечки, но середину знака будто вырвали вместе с куском металла.

Сычёв садится на корточки, проводит рукавом по боковой пластине. Проявляются две строки старой чеканки: «СЛУЖЕБНЫЙ КОНСТРУКТ. УЗЕЛ № 7». Номер ниже стёрт до двух последних цифр, да и те можно принять за царапины.

— Видели такого? — спрашиваю я.

— Только рисунок. На старой заставе были дозорные псы, они сорванные пломбы чуяли. Ещё до моего отца списали.

— Этот до списания не дошёл.

— Может, дошёл. У нас половина списанного лежит там, где бросили, а вторая половина продолжает числиться.

Фёдор уже листает опись, подносит книгу к лампе и бормочет названия разделов. Конструкта не находит. В ведомости за девятьсот восемьдесят восьмой год значится «оборудование поиска пломб — две единицы», затем одна передана в форт, а у второй вместо отметки вырван угол страницы. Бумагу не вымыло и не съели мыши: край ровный, отрезанный ножом.

Я кладу ладонь на холодный бок. Ободок на коже нагревается, но сам пёс не шевелится. Чтобы вызвать «Осмотр», приходится не думать о красивой магической команде, а сформулировать основание, как для обычного протокола: предмет обнаружен внутри принятого объекта, в описи отсутствует, свойства и опасность неизвестны. Металл под пальцами отвечает слабой дрожью, перед глазами проступают строки.

ОБЪЕКТ: СЛУЖЕБНЫЙ КОНСТРУКТ

СОСТОЯНИЕ: СПЯЩЕЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: КАЗНА, СЕДЬМОЙ УЗЕЛ

ПИТАЮЩАЯ ПЕЧАТЬ: ОТСУТСТВУЕТ

Больше ничего. Ни возраста, ни инструкции, ни предупреждения, что делать, если казённая собака проснётся и решит взыскать с нас недоимку. Красная строка о незадекларированном объекте исчезает после того, как Фёдор вносит находку в акт приёма. Значит, Реестру хватило записи. Для государственной магии это почти неприличная доверчивость.

— Он спит, — говорю я. — Принадлежит заставе. Питающей печати нет.

— А живой почему? — Фёдор смотрит на неподвижные стеклянные глаза.

— Видимо, в старом уставе к жизни относились шире.

Под псом обнаруживаются обрывок цепи, два истлевших ремня и круглая крышка, вдавленная в землю. Никакого подвала. Фёдор заметно расстраивается; в девятнадцать лет хочется, чтобы под каждой развалиной начинался секретный ход. Мне хватает железной собаки. Кто-то вырвал из неё печать, вычеркнул из описи и спрятал под действующей рампой. Сделано давно, но случайностью не пахнет.

Вытаскиваем конструкта на двух досках. Сычёв тянет цепью, я толкаю ломом, Фёдор держит лампу и каждый раз суёт её под руку. На последнем рывке пёс ударяется боком о камень и выпускает струйку грязной воды. Фёдор шарахается; я тоже, только внутрь себя. Конструкт остаётся лежать, ни один шарнир не двигается.

Находку переносим в архивную комнату. Латунный хвост цепляется за косяк, с полки валяются пустые квитанции. Пёс ложится под окном напротив ящика с таласским флаконом и револьвером Дорохова. Мне это не нравится; я переставляю ящик на стол и проверяю сургуч. Личный оттиск и подписи целы.

За окнами сереет небо, чужие луны над Разломом растворяются одна за другой. Фёдор садится переписывать акт и клюёт носом над первой строкой. Сычѐв разводит огонь и ставит передо мной дождевую воду. Она отдаёт ржавчиной, зато не убивает — на Седьмой заставе это пока считается знаком качества.

— Комната прежнего начальника наверху, — говорит старик, глядя, как я держу кружку двумя руками. — Кровать целая, если к стене не прижиматься. Стена мокрая.

— Через час.

— Через час вы упадёте здесь, и Федя внесёт вас в опись как ещё один живой предмет.

— Тогда у заставы вырастет имущество.

Сычѐв хочет ответить, но со стороны дороги доносится длинный низкий гудок. Не автомобиль Терехова: звук мощнее, с металлической дрожью, от которой в архиве тихо звякает стекло. За первым гудком приходит второй. Фёдор просыпается мгновенно и размазывает щекой свежую строчку.

Сычѐв подходит к окну. На его лице нет удивления, только неприятное подтверждение старой догадки.

— Вот теперь началось, — говорит он. — Кабанов.

Караван добирается до нашей канавы почти через час, нарочно давая рассмотреть красно-белые флажки торгового дома и охранников в серых плащах. Четыре фургона: два магитехнических тягача, крытая конная платформа и низкий шестиколѐсный автомобиль. По княжеской дороге такой состав прошёл бы мимо нас за пять минут. Кабанов свернул сюда сознательно и успел сообщить об этом гудком всему Каменному Броду.

Пока машины ползут по колее, мы приводим заставу в состояние недавнего, а не окончательного ограбления. Сычѐв укладывает перекладину на козлы и натягивает цепь. Я меняю окровавленную рубаху на форменную из комнаты прежнего начальника; китель велик и пахнет нафталином. Фёдор в третий раз переписывает начало акта. На этот раз число и должность верные, а чернила почти не дрожат.

— Если спросит печать, говорим как есть, — предупреждаю я. — Штатная расколота, документы заверяю личной и служебной пломбой в пределах поста.

— Он спросит не печать, — отвечает Сычѐв, проверяя затвор карабина. — Он спросит цену.

— Откуда такая уверенность?

— Матвей Семёнович двадцать лет спрашивает одно и то же. Иногда словами.

— И сколько платит?

Старик не обижается. После ночного конверта у нас на двоих уже нет удобной возможности притворяться.

— За проход по княжеской дороге — дому. За отсутствие любопытства — кому положено. Здесь не платил, потому что здесь никто не смотрел.

— Значит, сегодня познакомимся по полному тарифу.

Фёдор за нашим разговором следит слишком внимательно и забывает промокнуть подпись. Я забираю у него лист прежде, чем рукав проедет по чернилам.

— Аппарат «Глас» работает?

— На приём уверенно, на передачу по обстоятельствам. После бури накопитель пуст, но я отправил короткую отметку Терехову: четыре фургона, дом Кабановых, начало досмотра. Если линия донесла.

— Хорошо. В журнал тоже внеси. Время по станционным часам.

— Они стоят.

— Тогда по часам Кабанова. Пусть хоть чем-нибудь поможет государству.

Головной тягач останавливается перед цепью. Накопитель под кабиной ещё несколько секунд гудит и бросает на мокрые камни синий свет. Дверь открывает приказчик, худой человек в коричневой жилетке, но выйти не успевает: его отодвигает изнутри хозяин.

Матвею Семёновичу около пятидесяти. Борода пострижена клином, на пальцах два кольца, сапоги после нашей дороги чистые — грязь он считает занятием подчинённых. Он осматривает цепь, рампу, мой жетон, замечает следы верёвки на запястьях и распахивает руки, будто приехал на именины.

— Михаил Аркадьевич! Наконец-то у Седьмой заставы есть лицо. А в городе уже пустили дурной слух, будто вы не добрались.

— Добрался. Слух можете вернуть владельцу.

Кабанов смеётся с задержкой. Сычёву кивает по имени, Фёдора приветствует как «Феденьку» и получает официальное «Фёдор Ильич Карпов». Значит, знакомы давно. Двое водителей тоже здороваются со стариком; тот отвечает, но карабин с плеча не снимает.

— Везу вам первую пошлину, — продолжает Кабанов. — Сто восемьдесят ящиков столовой и технической керамики из Хары, всё чисто, осмотрено, карантин пройден. Решил подержать государев тракт, раз уж Палата вспомнила о poste.

— Щедро. Декларацию.

Приказчик подаёт папку Фёдору, тот уносит её за конторку у рампы. Я остаюсь у первого фургона. От медной решётки идёт сухое тепло, за ним чувствуется другой запах — мокрая солома, обожжённая глина и холодная минеральная горечь, царапающая язык. Фёдор читает: четыре машины, сто восемьдесят ящиков, девятьсот двадцать пудов, таласские мастерские Хары, получатель в Белоярске. Оттиск перехода, карантин и контрольный знак двора Одоевских на месте.

— Вес подтверждён сегодня в половине четвёртого, — говорит Фёдор. — Расхождение допуска отсутствует. Пломбы перехода совпадают по номеру. Сопроводительная печать торгового дома действующая.

— Видите? — Кабанов подходит ближе и говорит уже тише, почти по-родственному. — Ни вам лишнего труда, ни мне задержки. Возьмите пошлину, поставьте отметку — и до полудня успеете поспать.

— Заманчиво. Открывайте первый.

Улыбка не исчезает, но перестаёт доходить до глаз.

— Для чего?

— Для досмотра.

— Груз осмотрен на Седьмом торговом дворе.

— Это не наша застава.

Кабанов оглядывается на двор, где перекидывающаяся лежит на козлах, а из канцелярии торчит заколоченная рама.

— Не стану спорить о названиях. Но повторный досмотр после признанного контрольного пункта требует основания. Простой четырёх машин, ответственность за бой керамики, охрана — всё ляжет на казну.

— Основание будет записано. У шестиколёсного фургона задние оси просели сильнее передней, хотя по ведомости ящики распределены равномерно. На втором правая рессора нагружена почти вдвое больше левой. Номера пломб первого и четвёртого сходятся с ведомостью, а проволока разная: на четвёртом свежая и без дорожной пыли. А ещё керамика обычно пахнет керамикой, не солью.

Кабанов поворачивает голову к шестиколёсному фургону. Всего на мгновение. Мне хватает.

— Таласская глазурь, — объясняет приказчик. — В составе минеральные соли. Сопроводительная ведомость, лист девятый.

— Тогда вы быстро докажете, что я зря беспокоюсь.

— Гавриил Петрович, — Кабанов обращается к Сычёву, будто меня рядом больше нет. — Вы же знаете правила. Молодой человек первый день, устал с дороги. Объясните ему, чем заканчивается порча груза без законного повода.

Сычёв медленно проводит большим пальцем по ремню карабина. На него смотрят водители, охрана и Фёдор. Старик это чувствует; плечо у него опять опускается, лицо делается серым. Я не тороплю. Если сейчас отвечу за него, он ещё долго будет служить сразу двум начальникам и каждый раз выбирать того, кто платит вовремя.

— Четвёртую проволоку меняли после перехода, — наконец говорит Сычёв. — После дороги на ней был бы налёт. Открывай, Матвей.

Кабанов несколько секунд разглядывает его, как вещь, которая неожиданно вышла из строя. Потом поправляет манжету и кивает приказчику.

— Открывайте. Все четыре. Раз уж господину Корсунову хочется начать службу с разбитых чашек, предоставим такую возможность.

Перед тем как снять цепь, я требую разрядить оружие и оставить его на брезенте в десяти шагах от рампы. Один охранник кладёт руку на кобуру. Сычёв называет его по имени и напоминает, где торгует жена. После этого два револьвера и карабин ложатся на землю. Людей у Кабанова больше, но теперь им придётся сделать заметное движение, прежде чем спор станет вооружённым.

Первый фургон действительно набит керамикой. Вскрываем три ящика из разных мест: тарелки, изоляторы для эфирных линий, чашки с синей росписью. Фёдор записывает номера и всякий раз просит приказчика подтвердить отсутствие претензий. На третьем подтверждении тот начинает ненавидеть его почти профессионально.

Во втором фургоне картина та же, но правая сторона нагружена тяжёлыми изоляторами, а левая — посудой. Рессоры объясняются. Кабанов заметно оживает.

— Два из четырёх, — говорит он. — Может, прекратим представление, пока государство не задолжало мне больше, чем собрало за год?

— Нет.

— Вы даже не думаете.

— Я подумал до ответа.

Третья платформа тоже чистая: трубы, плитка, печные вставки. Пока Сычёв простукивает настил, меня начинает мутить. Я упираюсь в конторку и делаю вид, будто изучаю декларацию. Буквы расплываются. Тело напоминает, что вчера его отравили и избили, а сегодня оно не подписывалось разгружать караван.

Кабанов подходит бесшумно для человека его веса.

— Вы белее своей рубахи, Михаил Аркадьевич. Я могу прислать лекаря. По-соседски.

— Сначала пришлите ключ от четвёртого фургона.

— Упрямство — дорогое свойство. Особенно когда оно родовое.

— Вы хорошо знали мою семью?

Он улыбается, но вопрос ему не нравится.

— В Южном крае знают все старые дома. Ваш — один из старейших. Жаль, что родство не всегда отвечает взаимностью.

— Груз, Матвей Семёнович.

Он отходит. Я жду, пока тошнота отпустит, и только потом выпрямляюсь. Сычёв видел весь разговор, однако спрашивать при посторонних не станет. Фёдор всё-таки суёт мне кружку. Вода тёплая, на поверхности плавает кусочек щепы. Выпиваю до дна.

Дверь шестиколёсного фургона открывается с трудом. Изнутри тянет подвальной сыростью, хотя кузов сух. Ящики стоят до передней стенки, но крайний ряд не упирается в борта: справа щель в два пальца, слева почти ладонь. Для хрупкого груза странно — на первой выбоине всё должно начать гулять.

Я прошу раскатать кузов. Двое водителей берутся за край. Рессоры ходят, ящики остаются неподвижны и не звенят. Их либо прибили к полу, либо связали в единый блок. Оба способа для столовой посуды одинаково глупые.

— Опись крепления есть? — спрашиваю я.

Приказчик перелистывает бумаги и находит строчку о транспортной обрешётке. Слишком общую, чтобы что-то доказать. Я кладу ладонь на дверную раму и вызываю «Осмотр», формулируя основание не для Реестра, а для себя: несовпадение распределения груза, свежая проволока, посторонний запах, неподвижная укладка.

На этот раз ответ приходит не сразу. Тёмный ободок на коже стягивается, по запястью идёт боль, как после слишком тугой манжеты. Перед глазами проступают всего три строки.

ЗАЯВЛЕННАЯ КАТЕГОРИЯ: КЕРАМИКА
ОБНАРУЖЕНО НЕСООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ
УГЛУБЛЁННЫЙ ДОСМОТР: ОСНОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНО

Я жду продолжения. Реестр молчит. Ни названия товара, ни стрелки, ни любезного плана тайника. Система подтверждает, что я не зря полез в чужой фургон, и уходит пить чай.

— Разгружаем четвёртый полностью, — говорю я.

Кабанов перестаёт притворяться гостем.

— На каком основании?

— Категория опасности груза не соответствует заявленной.

— Кто это установил?

— Действующий служебный контур заставы. Формулировку Фёдор внесёт в протокол.

— У вас расколота печать.

— Зато камень цел.

Он переводит взгляд на старую гранитную тумбу у рампы. Утром золотой след уже погас, но на круге осталась свежая линия, которой вчера не было. Купец узнаёт её. Не знаю, что именно он видит, однако спорить о праве досмотра больше не пытается.

— Если хоть одна партия окажется повреждена, — говорит он, понизив голос, — я потребую возмещения лично с вас.

— Встанете в очередь после козы.

Сычёв фыркает в усы и первым берётся за лом. Кабанов отходит к головной машине. Его охранники остаются у брезента с оружием, водители начинают снимать ящики. Фёдор нумерует их мелом, сверяет с упаковочным листом и неожиданно быстро распределяет площадку: осмотренное направо, невскрытое налево, повреждённое отдельно. Пока он занят делом, тревога перестаёт управлять руками.

На шестом ящике выясняется, почему груз не звенит. Короба прикручены к поперечным рейкам, рейки — к полу. Посуда настоящая, но дешёвая и переложена войлоком так плотно, будто её собирались сбрасывать со скалы. Откручиваем крепёж и снимаем ряд за рядом.

Последний ряд снимаем ближе к полудню. Солнце уже прожгло утреннюю серость, от фургонов идёт жар, рубаха у меня снова мокрая. Нужного отверстия в стене нет. Я простукиваю борта, Сычёв проверяет стойки, Фёдор сравнивает внутреннюю длину с транспортным паспортом. Расхождение он находит не там, где я ожидал.

— Пол выше, — говорит парень и тут же поправляется: — То есть кузов по паспорту внутри четыре аршина и три четверти в высоту. От пола до верхней балки четыре с половиной. Потеряна четверть аршина, если паспорт не врёт. Паспорт не должен врать, он заверен мастерской.

Сычёв опускается на колено и счищает грязь у порога. Доски настила здесь новые, но шляпок гвоздей сверху нет. Он проводит ножом по стыку. Лезвие уходит глубже, чем должно.

— Поднимали снизу, — говорит он. — Пол целиком съёмный.

Лом входит в щель. Секция поднимается вместе с двумя рейками, из темноты выходит холодный воздух. Скрип, дыхание Сычёва и ругань приказчика словно уходят за стену. Фёдор говорит в двух шагах, а я вижу движение губ и не слышу слов.

Под двойным полом лежит тёмная ткань. Она не шевелится, однако взгляд с неё всё время соскальзывает; складки кажутся то плоскими, то глубокими, как трещины в ночной воде. Сычёв отпускает лом и быстро обтирает пальцы о штаны.

— Шепчущий шёлк, — произносит он. Голос доходит глухо, с опозданием. — Руками не трогать. Он след печати гасит.

От ткани минеральный запах садится на зубах. Под ней лежат шестнадцать прямоугольных футляров; остальное место занято тонкими свинцовыми плитами. Ими добрали недостающее, чтобы цифра на княжеских весах совпала с декларацией.

Груз весит правильно. Просто весит не то.

Прошу принести перчатки, сухой песок и брезент. Люди Кабанова ждут его приказа. Тогда Фёдор сам идёт в сарай и возвращается с перчатками почти до локтей. Руки дрожат, но сперва он вносит в протокол время, свидетелей и состояние пола, а уже потом помогает растянуть брезент.

Шёлк липнет к перчаткам и тянется вбок, словно другой конец держат за стеной фургона. Под ним серые керамические футляры. По поверхности ползут белёсые кристаллы, собираются в дорожки и прячутся в швах. Один футляр треснул у горловины; соль из щели не осыпается, а карабкается вверх по крышке, оставляя чёрные точки.

Фёдор судорожно листает тарифный справочник.

— Живая соль, первый карантинный список. Ввоз по особому разрешению Палаты и медицинского совета. Перевозка только в глухих футлярах, без совместной укладки с активными печатями. Здесь написано... здесь написано, что при повреждении нельзя смачивать водой.

— Воду никто и не предлагал, — говорит Сычёв. — Песок под треснувший. Не тряси.

Кабанов отступает от фургона на шаг. До этого он играл возмущённого собственника, теперь на лице появляется настоящий страх. Небольшой, хорошо воспитанный, но настоящий.

— Это не мой товар.

— Машины ваши, — отвечаю я, удерживая футляр, пока Сычёв подсыпает песок. — Люди ваши. Печать торгового дома тоже.

— Партия погружена в Харах. Мой приказчик принял закрытые фургоны.

Приказчик бледнеет и тут же говорит, что присутствовал при погрузке керамики. Кабанов даже не смотрит на него. Прежняя уверенность разламывается между ними без всякой помощи Реестра. Кто-то из двоих лжёт. Возможно, оба, просто о разном.

— Прекратите выгрузку, — требует купец. — Вы уже повредили упаковку. Я вызываю представителей княжеского двора и пограничного корпуса.

— Вызывайте. До их приезда скрытый груз останется там, где обнаружен. Фёдор, в акт: шестнадцать футляров, один с повреждением горловины, обёртка из предположительно шепчущего шёлка. Слова «живая соль» пока со ссылкой на маркировку и справочник, не как окончательное заключение.

— А пломба? — Фёдор смотрит на белые крупинки, которые уже добрались до края футляра.

— Сейчас.

Я касаюсь пола и формулирую объект: скрытый отсек, обнаруженный в пределах заставы и изъятый до решения по делу. «Казённая пломба» отзывается болью. Золотая линия проходит

по краю поднятой секции и замыкается вокруг тайника. Шёлк гасит свет, зато дерево принимает знак. Соль пломба не обезвредит, но нарушение зафиксирует.

КАЗЁННАЯ ПЛОМБА УСТАНОВЛЕНА

ОБЪЕКТ: СКРЫТЫЙ ГРУЗОВОЙ ОТСЕК

ДЕЙСТВИЕ: В ПРЕДЕЛАХ ЮРИСДИКЦИИ

Строки исчезают. Вместе с ними из руки уходит сила. Я успеваю отступить от края фургона и сесть на ближайший ящик, пока это ещё можно выдать за осознанное решение. Сычѳв становится между мной и Кабановым. Не демонстративно — просто выбирает место, с которого видны охранники и брезент с оружием.

— Досмотр окончен? — спрашивает купец.

— Нет, — отвечаю я. — Теперь он только начался.

К двум часам двор напоминает рынок после драки. Керамика стоит под навесом, водители сидят порознь, охранники маются возле разряженного оружия. По протоколу продолжения досмотра я снимаю пломбу, Сычѳв проверяет крепления. Серые футляры переносим на брезент: шестнадцать штук, один повреждѳн. Снаружи только таласские цифры и знак карантина, перечѳркнутый чѳрной чертой.

Кабанов требует поверенного и независимого мастера. Фѳдор записывает требования; связь отвечает треском. С княжеской дороги за нами наблюдают двое в песочных мундирах, но помогать не спешат.

Водителей опрашиваем отдельно. Двое знают только маршрут, третий путается в месте погрузки. Четвѳртый видел, как приказчик менял проволоку на пломбе. Приказчик всё отрицает и вспоминает его штраф за пьянство. Фѳдор записывает обе версии: хороший протокол не выбирает удобную, он переживает тех, кто кричал громче.

Кабанов просит поговорить без свидетелей. Мы отходим к головному тягачу, оставаясь на виду у Сычѳва. Купец предлагает папиросу, получает отказ, закуривает сам и после двух затяжек говорит:

— Тысяча двести рублей.

— За что?

— Не надо оскорблять нас обоих. Вы отдаѳте мне четвѳртый фургон, в акте остаѳтся нарушение упаковки и несоответствие крепления. Я увожу товар обратно поставщику. Тысяча двести — сейчас. Отдельно починю крышу, колодец и пришлю продовольствие на месяц.

Моѳ жалованье — сорок два рубля, и то на бумаге. Кабанов предлагает больше годового содержания нынешнего штата. Хватит вернуть людей, купить оружие и вычистить колодец. Можно даже убедить себя, что соль уедет поставщику; останется лишь не спрашивать, зачем её прятали.

— Повторите предложение при писаре, — говорю я. — Оформим пожертвование в казну. Крышу и колодец примем после сметы.

Кабанов выпускает дым через нос. Взгляд у него становится почти сочувственным.

— Я тоже был молодым. Правда, не настолько глупым.

— Вам повезло с воспитанием.

— Вам — меньше. Род выкинул вас без денег, Палата отправиладохнуть на развалину, а вы защищаете их имущество. От кого? От человека, который первым привѳз вам законную пошлину.

— Законная пошлина лежит в первых трѳх фургонах. Еѳ я возьму.

— А четвѳртый?

— Останѳтся до решения по опасному грузу.

— Вместе с посудой на несколько тысяч?

— Посуду выпущу после пересчёта и уплаты. Тайник, шёлк, соль и сам фургон как место сокрытия — изымаю временно. Получите копию акта. Если вас подставили, документ вам пригодится.

Взятку он ожидал. Полную конфискацию — тоже: тогда можно поднять гильдию и обвинить меня в разорении. Разделить законное и спрятанное оказалось невежливо.

— Вы не понимаете, чью дорогу пересекли, Михаил Аркадьевич.

— Государственную. На частную меня вчера не пустили без трёх рублей.

Кабанов бросает окурок в грязь, но тут же поднимает и прячет в портсигар: у нашей цепи уже действует чужой порядок, и он не хочет давать мне повод.

— До вечера вы пожалеете, что проснулись в той повозке.

Угроза выходит слишком точной. Я смотрю на него дольше обычного.

— А вы откуда знаете про повозку?

Кабанов моргает один раз.

— Весь город знает. Ваших разбойников утром привезли к Терехову. Сеня орёт на всю управу.

Пристав уехал ночью, а новости здесь бегают быстрее автомобилей. Объяснение возможно. Доказательств другого пока нет.

— Тогда город узнает и про соль, — говорю я. — Подпишем бумаги.

Кабанов ещё час торгуется за бой, простой и каждую формулировку. Фёдор сначала путается в приложениях, потом злится и дважды возвращает приказчику неподписанный лист. Сычёв тем временем находит в кабине запасную катушку свежей проволоки. Керамику перегружаем в три машины и нанятую в городе подводу. Законная часть уходит после пошлины — сорока восьми рублей и двадцати копеек. Серебро пересчитываем, запираем в ящике из-под бланков и печатаем. Первая выручка заставы за много месяцев пахнет воском, табаком и раздражением.

— Квитанцию, — говорит Кабанов.

Фёдор протягивает лист. Купец читает до последней запятой, складывает вчетверо и убирает во внутренний карман.

— Берегите деньги, — советует он мне. — Они здесь надолго не задерживаются.

— Поэтому ваш фургон останется сторожить.

Перед отъездом Кабанов забирает оружие под расписку и долго говорит с Сычёвым у цепи. Три фургона и подвода уходят; шестиколёсник остаётся у рампы, скрытый груз — под навесом. Красно-белые флажки исчезают за поворотом без прощального гудка.

— Что предлагал? — спрашиваю я, когда пыль оседает.

Сычёв разминает больное плечо.

— Сказал, вы через неделю сбежите, а мне здесь жить. Обещал забыть сегодняшний позор, если помогу вам собраться быстрее.

— Вы отказались?

— Сказал, что ваши вещи пока все помещаются в одном кармане. Помогать рано.

От старика это почти присяга, и я не порчу её благодарностью. Футляры ставим в бывшей угольной кладовой на слой сухого песка: склад занят чаем, а живая соль, по справочнику, портит оружейные контуры. Каждый получает номер и личный оттиск, дверь — цепь и казённую пломбу. Крупинки у треснувшей горловины уже проели на шёлке серые пятна. Фёдор будет отмечать их каждый час, не касаясь руками.

На закате я возвращаюсь к пустому фургону зарисовать тайник. Пол поднят, свинцовые пластины сложены у колеса, шёлк изъят. Работа кажется грубой, но рейки подогнаны плотно, внутренние борта обшиты тонкими досками, чтобы футляры не бились о раму.

Одна обшивочная доска отходит под пальцами. Я тяну её на себя; из паза сыплется сухая соль, обычная, дорожная. На оборотной стороне дерева выжжен небольшой знак. Чёрная птица держит в клюве ключ.

На моём кольце та же птица. Только у младшей линии Корсуновых под ключом стоит короткая поперечная риска. Здесь риски нет.

Память тела отзывается раньше, чем я успеваю позвать остальных: прохладная кладовая, такие же ящики под серыми чехлами, рука дяди Андрея на крышке. «Старшая печать не покидает дом». Потом видение схлопывается, оставляя во рту металлический привкус.

Фёдор подходит с лампой, заглядывает через плечо и перестаёт дышать. Сычёв тоже встаёт, но не торопится к нам.

— Это же герб вашего дома, — говорит писарь.

Я снимаю кольцо, прикладываю к выжженному знаку. Птица, ключ, изгиб крыла — всё совпадает, кроме знака младшей ветви. Слишком точная работа для случайной метки и слишком скрытая для обычного товара.

— В акте пишите не «герб», — говорю я, возвращая кольцо на палец. — Пишите: «клеймо в виде птицы с ключом, обнаружено на внутренней стороне обшивки». Доску изъять отдельно, заверить тремя подписями. Кабанову пока не сообщать.

Фёдор смотрит уже не на доску, а на меня. Утром купец предлагал деньги, вечером улика привела к фамилии нового начальника — для первого дня доверия многовато. Сычёв освещает клеймо сбоку; в бороздках блестит почти свежий тёмный воск. Я заворачиваю доску и добавляю для протокола: личная печать Михаила Корсунова имеет сходный рисунок, но отмечена рисккой младшей ветви. Перо Фёдора на мгновение замирает. Он переводит взгляд на Сычёва, получает короткий кивок и вписывает мою фамилию в графу лиц, имеющих отношение к маркировке. Чернила ложатся густо, без кляксы; затем мы втроём ставим под записью подписи.

Глава 5. Пломба

К полуночи на столе лежат три караульных ведомости, хотя караульных у нас ровно трое и один из них едва не падает лицом в чернильницу. Фёдор составил первый график по уставу, второй — с учётом незапирающихся окон, третий — после объяснения Сычёва, почему ночью не ходят вдоль северной стены: там провалился дренаж, и врага можно пропустить только потому, что он уже сломал себе ногу. Парное патрулирование я вычёркиваю. Если двое уйдут во двор, последний останется один между фургоном, кассой и шестнадцатью футлярами живой соли. Для хорошей охраны не хватает человек десяти, для плохой — хотя бы пяти. Выбираем из имеющихся.

— Первый обход мой, — говорит Сычёв. Он сидит боком к столу, чтобы не тревожить левое плечо, и точит нож о край старого бруска. — Вы до утра всё равно не протянете. Глаза уже разные.

— Они у меня с рождения разные.

— Вчера не были.

Фёдор решает, относится ли наблюдение к медицинской части протокола. Лампа двоятся одинаково с каждым глазом, значит, жить пока можно. Таласский яд вышел не весь; к нему добавились побои, присяга и день с тяжёлыми футлярами. Корсунову двадцать два, но молодость — не бессрочная ссуда.

— Хорошо. Вы — до двух, Фёдор — после вас. Я беру предрассветные часы и остаюсь в канцелярии, пока не лягу. Каждый час проверяю трещину на четвёртом футляре через смотровое стекло, дверь без причины не открываем. Если серое пятно на шёлке стало шире — будите обоих. Если пломба повреждена — сначала будите, потом геройствуйте.

— А если пожар? — спрашивает Фёдор.

— Песок. Вода рядом с живой солью запрещена.

Фёдор дописывает запрет на обороте графика. Сычёв молча ставит у угольной три ведра сухого песка, а я проверяю цепь, скобу и золотистый след казённой пломбы. Оттиск лёг неровно — рука дрожала после досмотра, — но линия замкнулась по двери и стене.

В архиве латунный пёс лежит под окном напротив ящика с таласским ядом и револьвером Дорохова. Фёдор успел протереть половину морды и найти в описи название: сторожевой регистратор печатей образца «К-7». Одно ухо обломано, на боку вмятина, на лбу пустое круглое гнездо.

— Ему нужен питающий оттиск, — говорит Фёдор. — Старые конструкторы связывали со служебным контуром через печать.

— Штатная расколота. Если он сохранил резерв за шестьдесят лет под рампой, назначу заведовать кассой.

Фёдор улыбается, хотя губы у него серые от усталости. Я отправляю его спать и возвращаюсь к акту. Рядом лежит отдельно запакованная доска с клеймом Корсуновых; узел проходит через три подписи, но чёрная птица будто всё равно видна сквозь ткань. Совпадение герба с тайником Кабанова ничего не доказывает. Только судья будет смотреть не на здравый смысл, а на изгнанного дворянина, появившегося на пустой заставе одновременно с живой солью. Матвей Кабанов получил удобную версию ещё до отъезда.

До двух я свожу в опись футляры, шёлк, доску, фургон и сорок восемь рублей двадцать копеек. В нормальном управлении дело заняло бы четыре стола; здесь хватает одного и сложенной скатерти под кривой ножкой. Сычёв возвращается без пяти два. На княжеской дороге дважды прошёл свет, но к нам никто не свернул. Перед тем как лечь, старик проверяет окно, печную заслонку и меня — именно в таком порядке.

— Хоть час поспите, Михаил Аркадьевич. Если помрёте над актом, Палата не примет: здесь подписи не будет.

— На последней странице три.

— Тогда примет. Но нового начальника прийдёт ещё хуже.

Я уступаю дивану, когда перо дважды выводит одну цифру. Револьвера при мне нет: Дороховский запечатан как улика, казённое оружие существует только в описи. Кладу рядом нож из той повозки и закрываю глаза под шорох страниц — Фёдор принимает смену на семь минут раньше.

Спать мне дают недолго. Сначала в левую ладонь входит тонкая горячая игла. Боль добирается до плеча, и почти одновременно из архива доносится тяжёлый удар, будто шкаф упал плашмя. Я ещё сижу, не понимая, где потолок, когда перед глазами проступают две золотые строки.

КАЗЁННАЯ ПЛОМБА НАРУШЕНА

ОБЪЕКТ: ХРАНИЛИЩЕ ИЗЪЯТОГО ОПАСНОГО ГРУЗА

Вместо третьей строки что-то выносит архивную дверь. Фёдор кричит во дворе, следом раздаётся испуганная ругань. Я хватаю нож и выбегаю на крыльцо. Угольная уже горит: промасленная пакля протянута от разбитого фонаря к порогу, пламя лижет нижние доски. Цепь сорвана, золотой след пломбы оборван.

Поджигатель лежит между угольной и рампой, одной рукой цепляется за столб, другой молотит по латунной голове. Пёс висит на левом сапоге, в пустом гнезде на лбу горит рванный кусок моей пломбы. Фёдор стоит рядом с кочергой, но не бьёт, боясь попасть по казённому имуществу.

— Песок! — ору я ему. — Оба ведра к двери!

Фёдор бежит за ведрами. Поджигатель выворачивается и лезет за пояс; старый служебный револьвер лежит в трёх шагах, куда его выбило при падении. Я отбрасываю оружие к стене и опускаюсь рядом.

— Ладони на землю. Обе.

— Сними пса, сука! Он мне кость дробит!

— Значит, ладони клади осторожно.

Я прижимаю нож к рукаву у локтя, не к горлу. Сычёв выскакивает из жилого корпуса с карабином, оценивает меня, револьвер и задержанного, только потом огонь.

— Живой?

— Пока мешает. Заберите.

Старик заламывает поджигателю руку и стягивает запястья ремнём. Пёс всё равно не отпускает. Первое ведро песка сбивает пламя, но пакля горит под серой коркой; Фёдор приносит второе и по инерции тянется к бочке.

— Не воду! — Я перехватываю ручку прежде, чем он успевает зачерпнуть. — Лопату, брезент и ещё песок из-под навеса.

— Дверь открывать?

За дверью живой груз. Оставить закрытой — поздно заметить огонь внутри; открыть — дать тягу и нарушить хранение. Хорошего решения нет.

— После меня. Стой сбоку, лицо не суй.

Скоба выдрана вместе с косяком. Я приоткрываю дверь, выпускаю дым и жду. Внутри не вспыхивает. Футляры стоят на песке в два ряда, шепчущий шёлк съедает свет оттисков. На четвёртом пятно вокруг трещины стало размером с тарелку.

Фёдор видит его через плечо и перестаёт дышать.

— В акте было семь вершков от горловины. Сейчас восемь с половиной.

— Уверен?

— Я линейкой мерил.

— Тогда потом перемеришь. Сейчас засыпай порог.

Сычёв приносит мешки с песком. Я вытаскиваю паклю из щели; горящий кусок падает внутрь, и Фёдор лезет за ним раньше меня, накрывает брезентом, прижимает лопатой. Про страх он вспоминает, когда ткань уже снаружи и засыпана, затем садится на песок и с обидой рассматривает новую подпалённую рубаху.

Я проверяю стену ладонью, Сычёв отбивает обугленные щепки. Старую цепь пропускаем через уцелевшую петлю, пломбу ставлю на камень. Сила отзывается нехотя; бледная линия замыкается, перед глазами остаются зелёные пятна.

— Сядьте, — говорит Фёдор, сам всё ещё сидя в песке. Должностная иерархия выглядит сомнительно, но я слушаюсь.

От ramпы снова доносится крик. Поджигатель попытался пнуть собаку свободной ногой; теперь пёс держит правый сапог, а прокушенный левый лежит отдельно. Сычёв разглядывает их без жалости, но с интересом.

— Первый раз кожу не прокусил, — замечает он. — Берёг доказательство. Во второй обиделся.

— Прекратить, — приказываю я конструктору.

Пёс ведёт ухом, но не отпускает. Полное служебное обращение тоже не помогает. Когда я касаюсь обломка пломбы в его лбу, латунная морда поворачивается, правый глаз замирает на кольце. Конструктор нюхает пальцы и толкается лбом в основание ладони — туда, где болит казённая метка.

По руке проходит судорога. Внутри пса один за другим щёлкают замки, расправляются пластины вдоль хребта. Обломок воска оседает в гнезде, будто его затянуло глубже. Перед глазами появляется не обычное уведомление, а выцветшая табличка с потёртыми буквами.

**СЛУЖЕБНЫЙ РЕГИСТРАТОР К-7 ВОЗВРАЩЁН В КОНТУР ЗАСТАВЫ
ДЕРЖАТЕЛЬ СЛУЖЕБНОГО ОТТИСКА ПОДТВЕРЖДЁН**

— Отпусти задержанного, — говорю я уже без титулов.

Пёс немедленно раскрывает пасть, садится и кладёт металлический зад прямо на оторванный сапог. Мужчина отползает к столбу, прижимая к груди связанную руку. На голени у него две неглубокие раны и быстро наливающийся синяк. Ходить сможет, бегать сегодня — вряд ли.

Фёдор обходит конструктора кругом. На лице у него сажа, волосы торчат после беготни, зато смотрит он так, будто мы только что нашли не старую машину, а четвертого сотрудника со своим жалованьем.

— Пломба, — произносит он.

— Что пломба?

— Имя. Он проснулся от неё, съел её и чужую бережёт лучше, чем Сухов весь склад.

— Пломба — предмет служебного обихода, а не имя.

Латунный хвост ударяет по земле. Один раз, с отчётливым звоном.

— Он согласен, — говорит Фёдор.

— С чем именно?

— Думаю, со мной.

Сычёв проверяет, не попал ли песок в затвор. Поджигатель смотрит на нас с сомнением в рассудке; после попытки спалить живую соль это довольно смелая претензия.

Задержанного зовут Иван Андреевич Лобов. Имя он называет после того, как Фёдор промывает укусы, накладывает повязку и записывает, что помощь оказана до опроса. Ивану

около тридцати, под глазами серые мешки, ладони в мозолях от веревок и ящиков. Сычёв узнаёт его раньше, чем тот заканчивает отчество.

— С кабановского нижнего склада, — говорит старик. — На весах стоял, потом грузчиком. Жена прошлой зимой умерла. Двое ребятишек у её матери.

Иван дёргает подбородком, словно получил удар. Про детей в протоколе ещё ничего нет.

— Не трогай их.

— Я не трогаю, — отвечает Сычёв. — В Каменном Броде трудно жить незамеченным. Особенно если должен Матвею Семёновичу.

В канцелярии ремень на запястьях Ивана крепим к кольцу под столом. Оба сапога стоят на чистой бумаге рядом с револьвером, бутылью, огнивом и воротком. У левого старое голенище и свежая подметка с квадратными гвоздями; в каблук забились чёрная пыль с серебряными крупинками. На заставе земля рыжая, у дороги белёсая. Эту грязь он принёс из другого места.

Пломба ложится у двери, повернув целое ухо к Ивану. Фёдор открывает чистый бланк. Сажа на его щеке позже окажется отпечатками на трёх листах.

— Начните со времени, когда вошли на территорию заставы, — говорю я.

— Не входил.

— Тогда у нас редкий случай самовоспламенения человека возле закрытой угольной. Фёдор, так и запишите: задержанный отрицает очевидное. Без оценки, только факт.

Перо скребёт бумагу. Иван смотрит на него, потом на свои сапоги. Красной строки у меня нет: Реестр не отличит ложь и не залезет человеку в голову. Поджигателя из Ивана не получилось, молчальщик пока получается лучше.

— Револьвер ваш?

— Первый раз вижу.

— Бутыль?

— Тоже.

— Вороток?

Он молчит. Я не задаю следующий вопрос, а беру револьвер через край чистой тряпки. Оружие старое, шестизарядное, с тёмной рукоятью. Латунная государственная пластина с рамки снята недавно: два винта блестят, вокруг них не успела набиться пыль. На нижней части кобурного выступа осталась зелёная полоска окиси. Точно такой же след тянется на рубахе Ивана от правого бедра к животу, а поверх него кожа натёрта широким ремнём.

— Вы без португеи пришли, — говорю я. — Но часа три носили её на голое плечо поверх рубахи. Ремень широкий, казённого образца, пряжка медная. Револьвер висел справа и бил о живот на ходу. Здесь дорога ровная, значит, далеко шли пешком. Где ремень?

Иван пытается разглядеть собственный бок. Увидеть след без зеркала трудно, зато теперь он знает, что я его заметил.

— Старый ремень был. Выбросил.

— Где?

— Не помню.

— Тогда пойдём от сапог. Кто подшивал?

— Шорник на Сенной.

— Вчера?

— Позавчера.

Сычёв берёт левый сапог за голенище и проводит ногтем по чёрной пыли. Одну крупинку растирает на листе; остаётся блестящая дуга.

— Шорник на Сенной стал уголь из Чёрной Балки вместо дратвы использовать? — спрашивает он. — Надо сообщить, разорится человек.

Иван ничего не отвечает, но правую ногу убирает под стул. На её каблуке той же пыли меньше, потому что подошва старая и гладкая: всё осыпалось по дороге. Новая удержала. Мне не нужно знать, что такое Чёрная Балка; это знает Сычёв, и задержанный только что подтвердил названием движение глаз.

— От заставы до Балки сколько? — спрашиваю я старика.

— По дороге семь вёрст. По сухому руслу пять с половиной. На новой подмётке после русла наружный край так и съедает: склон всё время под левой ногой.

Левый край действительно сбит сильнее. Иван смотрит на сапог как на предателя.

— Вы вышли из города вечером, — продолжаю я. — В Балке получили револьвер, португую, масло и вороток. Португую оставили перед заставой, чтобы на месте не нашли вещь корпуса; револьвер собирались выбросить после поджога, но не успели. Обратного должны были идти дорогой, иначе человек с больной ногой не согласился бы. Кто обещал встретить?

— Никто не обещал.

— Тогда зачем шесть рублей в кармане?

Фёдор пересчитал деньги при обыске: пять рублей и два полтинника, чистые, недавно выданные из кассы. Кабановский грузчик получает три рубля в месяц, если хозяин ничего не удержал.

— Накопил, — отвечает Иван.

— В левом кармане, где подкладка разошлась? Смелое место для накоплений. Монеты лежали в бумажном свёртке, складка ещё не расправилась. Получили сегодня. Или украли. Второе мне даже удобнее: по краже городской пристав приедет охотнее, чем по нашему вызову.

— Не крал.

— Значит, дали.

Он смотрит в край стола. Не профессионал и не фанатик: однажды согласился на маленькую уступку, потом на вторую, а сегодня оказался у склада с бутылкой масла. Удобный исполнитель, который всегда может объяснить себе, что никого не хотел убивать.

— О соли вам что сказали?

Иван вскидывает голову слишком быстро.

— Ни о какой соли не знаю.

— Про керамику, значит, сказали?

Он понимает ошибку и закрывает рот. Фёдор начинает писать быстрее.

— Вы знали, какую дверь жечь, — говорю я. — Не склад с чаем, не архив, не задержанный фургон. Угольную. Груз оказался там после заката, при разгрузке вас не было. Значит, тот, кто вас послал, получил сведения от человека, оставшегося на досмотре до конца или следившего за двором. Матвей Кабанов уехал до того, как мы перенесли футляры. Кто сообщил место?

— Я не знаю.

— Верю. Курьеру схему не показывают. Вам назвали: низкая дверь за водостоком, цепь, два ведра песка. И отдельно предупредили не лить воду, иначе вы бы принесли её — колодец ближе навеса с песком. Верно?

Я подвигаю Ивану воду. Сычёв освобождает одну руку, но остаётся рядом. На кружке после его пальцев остаётся чёрный след оружейного масла.

— Сказали, там зараза, — выговаривает он наконец. — Что вы сами её провезли. Кабанов не взял, так вы отобрали фургон и решили продать через своих. Если футляр треснул, к утру весь посад начнёт кашлять кровью. Сжечь надо было вместе с сараем, пока соль спит.

Фёдор перестаёт писать.

— Живая соль от огня не сгорает. Она контуры ест.

— Я почём знаю? Мне сказали.

— Вы не обязаны были знать, — говорю я. — Вы обязаны были не приходить с маслом на государственную заставу. Кто дал деньги?

— Не Кабанов.

— Я не спрашивал, кто не дал.

Сычёв едва заметно усмехается. Иван замечает и злится:

— Матвей Семёнович со мной не разговаривает. Я ему никто. Долг у меня конторе, не ему самому.

— Сколько?

— Восемнадцать рублей с процентом.

— За что?

Он долго мнёт губами ответ. Потом опускает голову так низко, что я вижу белую полосу на затылке от старой кепки.

— Лекаря для Настасьи из губернии выписывали. Кабанов дал двенадцать. Она три месяца ещё протянула, потом умерла, а счётчик прибавил дорогу, постой и проценты. Дом её матери в залоге. Там дети.

Сычёв отходит к окну без удивления: такие долги здесь часть пейзажа.

— Сегодня вам пообещали убрать запись из книги? — спрашиваю я.

— Отдать долговую. И шесть рублей сверху. Шесть уже дали, бумагу — после дела.

— Кто?

— Человек со склада привёл к конюшне. Я его знаю только как Харитона, он у Кабанова считает ночные смены. Потом пришёл другой. Не городской.

— Почему?

— Говорил не так. И сапоги у него корпусные, с подковкой. Португею свою дал, револьвер, всё остальное. Велел не задерживаться. Сказал, утром майор сам разберётся и нас ещё благодарить будут.

— Имя майора назвал?

— Нет. У нас один майор.

Фёдор вопросительно смотрит на Сычёва. Тот отвечает не сразу:

— Олег Ильич Барятинский. Командует местным отрядом Южного пограничного корпуса. На гербе медведь рвёт цепь. Перстень был?

Иван кивает, затем спохватывается:

— Может, похожий. Темно было.

— Правильно, — говорю я Фёдору. — Так и запишите: задержанный видел крупный перстень с изображением, похожим на медведя и разорванную цепь; принадлежность не установлена. Не надо помогать фактам становиться удобнее.

Фёдор одной чертой исправляет строку. Иван следит за ним и, кажется, только теперь понимает, что протокол не был заготовлен заранее.

— Конюшня где? — спрашиваю я.

— В Балке. Старая почтовая, у северного входа в штольни. Крыша провалена, но задняя половина целая.

— Что внутри?

— Ничего. Стойла.

Я беру револьвер и поворачиваю рукоятку к Сычёву. Старик осматривает место снятой пластины, открывает барабан, нюхает канал ствола. Затем ногтем поддевает нижнюю щёчку. Под ней видна короткая царапина в форме креста.

— Наш? — спрашиваю я.

— Не поручусь. Такие в корпусе тоже были. Но метку узнаю: в сорок девятом рукояти разбухли после паводка, я подгонял щёчки и ставил крест, чтобы не перепутать. На заставе четыре таких числятся.

Иван смотрит на револьвер и заметно бледнеет.

— Вы его в конюшне получили?

— Мне дали у входа.

— Значит, внутри были.

— В тамбуре.

— И больше ничего не видели.

— Не смотрел.

— Вы грузчик, Иван. Люди вашей профессии входят в помещение и сразу считают, что можно унести, сколько весит и где дверь. Это не порок, это ремесло. Сколько оружия стояло у стены?

Он молчит. Я не давлю голосом. Раскрываю инвентаризационный журнал на закладке и разворачиваю к себе, чтобы задержанный не видел цифры.

— Начнём с того, что вы точно запомнили. Длинные или короткие?

— Были длинные.

— На стойке?

— В пирамиде. Возле серой двери. Ещё ящик.

— Сколько в пирамиде мест?

— Восемь, наверное.

— Занятых?

Иван щурится. Он не вспоминает число — восстанавливает картинку, и это полезнее готового ответа.

— Пять... Нет, шесть длинных. Две короче лежали поперёк на ящике. Одну длинную тот человек снял, когда услышал мотор, потом поставил обратно.

В нашей книге отсутствуют ровно шесть винтовок и два карабина. Совпадение числа — ещё не опознание.

— Особые приметы заметили?

— На одной приклад стянут медными шпильками. Тремя. Я подумал, развалится при выстреле.

Сычёв садится на край подоконника. Пальцы правой руки крепко сжимают ремень карабина.

— Не развалится, — говорит он. — Я его сам стянул. Орех треснул возле шейки, мастер запросил рубль семьдесят, а мне дали три гривенника на ремонт. Три шпильки поставил, лишнее дерево выбрал. Номер сто восемьдесят третий.

— Запишите отдельно: сначала описание Лобова, потом пояснение Сычёва. Номер не выдавайте за слова задержанного; если вернём винтовку, проведём опознание.

Иван смотрит на нас по очереди. Соппротивление из него не исчезло; оно просто сменило предмет. Теперь он боится не наказания за поджог, а людей, которым принадлежит конюшня.

— Не вернёте, — говорит он. — Они всё вынесут до полудня.

— Кто «они»?

— Не знаю имён. Четверо: двое в рубахах, двое в корпусных штанах. За серой дверью говорил ещё кто-то. Меня впустили в тамбур из-за дождя.

В Балке могла идти своя эфирная морось; поверх чёрной пыли на сапогах Ивана засохли круглые каплины.

— Когда назначена встреча после поджога?

— Нигде. Я должен был бросить портупею у мёртвой ивы на тракте. Если дыма не будет, уйти к старому карьеру и ждать.

— Сколько?

— До рассвета. Потом самому в город.

— Значит, долговую расписку вам не собирались отдавать. Человек, который ждёт исполнителя, назначает место. Человек, который оставляет его в темноте, сохраняет себе возможность не встретиться.

Иван дёргает рукой; в лице появляется злость уже не на нас.

— Харитон сказал, всё будет.

— Харитон привёл вас к вооружённым людям, снял с себя ответственность и ушёл. Сколько грузчиков Кабанова знают о вашем долге?

— Все.

— Тогда заменить вас можно за один вечер. А долговая останется в конторе. Вы спалили бы груз, погибли от соли или получили пулю на обратной дороге; долг взыскали бы с дома. Удобная бухгалтерия.

Иван трёт лицо. Глаза мокрые, но голос остаётся злым.

— Что мне теперь делать, начальник?

Он хочет, чтобы я назвал цену другого хозяина. В прошлой жизни свидетелям обещали защиту, не существовавшую за пределами постановления. Здесь и постановления нет: трое людей, один карабин, двери открываются плечом. Солгать ради подписи легко, но государственной лжи здесь и без меня достаточно.

— Закончите показания и останетесь здесь как задержанный и свидетель. Копии уйдут Терехову и в Палату, третью спрячем отдельно. За детьми сами не поедem — приведём хвост; передадим бабке записку через человека Сычёва. Долг не исчезнет, поджог не станет добрым делом, но живым вас отдадут только по описи и с распиской.

— Терехов Кабанова боится.

— Возможно. Зато он любит оформлять разногласия письменно. У каждого свои достоинства.

Сычёв от окна говорит:

— Священник Григорий может записку передать. Ему Матвей не хозяин. Только врёт отец Григорий хуже вас, Иван. Если спросят, зачем ходил, сразу расскажет.

— Пусть расскажет, что к исповеди зовут. После сегодняшней ночи не совсем ложь.

Фёдор читает протокол с начала. Иван поправляет: не «уничтожить груз», а «поджечь сарай»; оружие получил не у военнослужащего, а у мужчины в корпусных сапогах. Обе поправки остаются: факт не слабеет без нашей догадки. Иван подписывает лист и отдельное ходатайство о детях. Потом мы фотографируем сапоги, счищаем пыль в пакет и разряжаем револьвер. В барабане четыре патрона, два гнезда пусты; выстрелов ночью не было, поэтому записываем именно отсутствие, не использование.

Ивана помещаем в архив с узким окном и наружным засовом. Ящик с ядом и револьвером Дорохова переносим в канцелярию, не нарушая оттиска. Фёдор запечатывает копию протокола в холщовую сумку. Когда золотая нить стягивает узел, пёс суёт морду между моей ладонью и сумкой.

— Нельзя, — говорю я. — Это не еда.

Пломба издаёт через грудную решётку звук, похожий на кашель пустой печи.

— Он возражает против названия, — замечает Фёдор.

— Он не умеет возражать.

— Сычёв тоже редко словами, но вы понимаете.

Сычёв кладёт Фёдору тяжёлую ладонь на плечо. Писарь пригибается и впервые за ночь смеётся; даже Иван за дверью коротко фыркает.

До рассвета часа два. Сычёв проверяет стену и мёртвую иву, Фёдор переписывает показания, а я остаюсь в архиве. Иван лежит на лавке; ремень заменили длинной цепочкой, чтобы мог повернуться. Пломба смотрит не на него, а на шкаф с тарифными справочниками.

Шкаф наклонён вперёд и способен убить читателя быстрее запрещённой книги, поэтому внимания я не обращаю. Пёс обнюхивает нижнюю дверцу, возвращается и тянет меня за полу кителя.

— Отдай. Казна новый не купит.

Он отпускает ткань, делает три шага к шкафу и оглядывается.

— Пломба, сюда.

Имя выскакивает раньше, чем я успеваю его остановить. Из-за двери немедленно появляется лицо Фёдора.

— Я слышал.

— Вы слышали служебную команду.

— Конечно, Михаил Аркадьевич.

Спорить бессмысленно. Пломба царапает пол возле ножки, где известь темнее и между досками видна латунная полоска. Мы будим Сычёва, снимаем книги и втроём сдвигаем шкаф. За ним — прямоугольник штукатурки лет на двадцать моложе стены.

Сычёв проводит пальцами по краю прямоугольника и вытирает белую пыль о штаны.

— При Воронцове здесь карта висела. Большая, на холсте. После его исчезновения люди из корпуса сняли. Сказали, казённая.

— Стену они тоже штукатурили?

— Не при мне. Нас тогда на три дня выгнали: следственные действия.

— Кто следовал?

— Майор Барятинский и его капитан. А действовали солдаты.

Штукатурку сбиваем тупой стамеской, крошку Фёдор собирает в мешок. Под ней проступает железная дверца без замочной скважины. В центре два углубления: круглое размером с гнездо на лбу Пломбы и вытянутое — с ладонь.

— Знали о сейфе? — спрашиваю я Сычёва.

— О малом — нет. У Воронцова был обычный в кабинете. Его увезли вместе со столом.

По швам Пломбы идёт слабый свет. «Осмотр» долго молчит, затем показывает выпцветшую табличку:

МАЛЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СЕЙФ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: ТАМОЖЕННАЯ ПАЛАТА

УСЛОВИЕ ДОСТУПА: РЕГИСТРАТОР ПОСТА / ДЕРЖАТЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЛУЖЕБНОГО ОТТИСКА

СОСТОЯНИЕ: ЗАКРЫТ

— Нужны двое, — говорит Фёдор. — Начальник один не откроет, и пса отдельно не заставить.

Сычёв замечает, что поэтому ведомство, видимо, от хорошей привычки избавилось.

Пломба прижимает лоб к верхнему кругу. Внутри приходит в движение механизм, но нижняя пластина остаётся тёмной. Я прикладываю к ней левую ладонь со служебной меткой. Боль проходит до локтя; на миг чувствую порванную цепь, новую пломбу у угольной, пакет с показаниями и кассовый ящик — всё, что государство считает своим, хотя годами не замечало, как его растаскивают.

Замок открывается двойным щелчком. Пломба садится рядом, ожидая похвалы, а я проверяю кромку дверцы. Сычёв ждёт терпеливо, Фёдор — нет.

— Если там пружина, вы её всё равно не увидите, — предупреждает Фёдор и предлагает смотреть из-за косяка. Иван просит отодвинуть его от стены: железа на сегодня хватило.

В сейфе лежат плоская коробка, фотографии и кожаная папка с почерневшей зелёной лентой. На коробке выгравировано: «Н. С. Воронцов». Сычёв читает и снимает фуражку.

— Николай Сергеевич, — говорит он. — Прежний инспектор.

В коробке служебная медаль, треснувшие очки и часы, остановившиеся без четверти четыре. На фотографии высокий сухой мужчина стоит у целой рампы, положив ладонь на голову Пломбы. Рядом молодой Сычёв без шрама, с прямыми плечами и чёрной бородой; пёс блестит, оба уха целы, в лоб вставлен оттиск с номером семь.

Фёдор поражается бороде. Сычёв обещает уволить его, как только найдёт подходящий циркуляр.

Старик берёт снимок так осторожно, будто бумага рассыплется от тепла.

— Воронцов Пломбу прятал? — спрашиваю я.

— Не знаю. За неделю до случая конструкт пропал с обхода, Воронцов сказал — отправил в ремонт. Потом его вызвали на тракт. Лошадь вернулась утром, седло в крови, стремянный ремень перерезан. Тела не нашли. Корпус объявил: сорвался в Балку во время эфирного толчка.

— Без тела.

— В Балке после толчка и камни не все находят.

— Кто подписал заключение?

Сычёв кладёт фотографию на ткань рядом с коробкой.

— Медик корпуса и майор Барятинский. Я расписался, что ознакомлен.

Он не оправдывается. Двенадцать лет Сычёв ходил мимо стены, служил людям, забравшим оружие, брал деньги с объездной дороги. Сейчас стоит босыми пятками на известковой крошке — сапоги снял, чтобы не затоптать следы, — и смотрит на молодого себя.

— Искали его сами?

— Три дня. Потом Балку закрыли оцеплением. Сказали, там выброс. На четвёртый день люди Кабанова уже снова повезли по нижней дороге. Я написал в Палату. Ответ пришёл через два месяца: сведения приняты, штат заставы сократить.

Папку открываем на чистой скатерти. На обложке рукой Воронцова написано: «Лично члену ревизионной комиссии. Через городскую почту не направлять». Внутри девять страниц, копии деклараций и точная схема Чёрной Балки. Последний лист не подшит, а вложен отдельно.

Я читаю вслух, чтобы никто потом не вспоминал формулировку по-своему. Воронцов сообщает о незаявленных грузах через закрытый северный путь, приводит номера кабановских фургонов и даты, когда городские весы показывали на сорок–пятьдесят пудов меньше контрольных. На полях пометки: «журнал переписан», «свидетель исчез», «копию снять вне поста».

Фёдор находит совпадение серии с сегодняшним фургоном: та же сотня и ошибка в клейме мастерской. Для суда мало, для дальнейшего задержания шестиколёсника достаточно.

— Последний лист, — напоминает Сычёв.

Воронцов писал его позже и торопился: ровные первые строки постепенно валятся вправо. Дата — за день до исчезновения, которое Барятинский объявил несчастным случаем.

Воронцов подтверждает хранение имущества Седьмой заставы в почтовой конюшне Чёрной Балки: шесть винтовок, два карабина, револьверы. Патроны выдают людям в гражданском для сопровождения грузов Кабанова. Источник он обещает назвать лично. Последний абзац снова написан ровно:

«Прошу до моего прибытия не истребовать объяснений у Южного пограничного корпуса и не направлять туда копию настоящего заявления. Распоряжения о выдаче оружия и охране северного пути исходят непосредственно от майора Олега Ильича Барятинского, вследствие чего обычный порядок служебной проверки приведёт к уничтожению документов и устранению свидетелей».

Ниже короткое «Н. Воронцов», дата и время — половина четвёртого. Часы остановились без четверти, но выводов из этого я не делаю: их могли сломать когда угодно. Фёдор всё равно записывает положение стрелок отдельно.

Иван на лавке садится окончательно. Он слышал фамилию Кабанова и про свидетелей, которых устраниют. Лицо у него становится пустым.

— Вот теперь вы меня точно не выпустите.

— Теперь я вас точно не выпущу одного, — отвечаю я. — Разница небольшая, но вам лучше её запомнить.

— А если корпус приедет за мной?

Я смотрю на выбитую дверь, один карабин и Пломбу у сейфа. Уверенных слов нет, только точный ответ.

— Тогда Фёдор потребует приказ, Сычёв проверит подпись, я внесу каждого вошедшего в акт. Если они решат, что бумага им не мешает, станет хуже. Поэтому до рассвета нужно сделать так, чтобы ваше убийство не уничтожило показания.

Иван неожиданно кивает. Пожалуй, правде он верит больше обещаний.

Фёдор снимает две копии через переводную бумагу, встряхивая сведённую кисть. Сычёв составляет список людей для передачи писем и вычёркивает больше имён, чем оставляет. Я вношу папку в опись и без свидетелей называю пса по имени: прошу Пломбу лечь у двери и охранять пакеты. Он укладывается поперёк порога и закрывает светящийся глаз.

До этой ночи пропавшее оружие можно было объяснить трусостью, поддельными требованиями или воровством. Теперь новая подмётка Ивана и заявление мёртвого инспектора ведут в одну конюшню. Фёдор пишет на трёх конвертах разные адреса; за стеной потрескивает обугленная доска, пятно на повреждённом футляре стало на полтора вершка шире. Бумага ещё готовится в дорогу, а люди Барятинского уже успели прислать огонь.

Глава 6. Цена закона

К рассвету живая соль перестаёт шуршать. Тишина держится минуту, потом из угольной доносится тонкий треск, будто кто-то медленно ломает сухую кость. Пломба поднимается с порога архива раньше меня, доходит до середины двора и останавливается. Целое ухо смотрит на хранилище, латунные лапы упираются в землю, а по бокам гаснет служебное свечение. Внутрь пёс не идёт. Если конструктор, который ночью бросался на огонь и сапоги, не желает приближаться к закрытой двери, спорить с ним из начальственного самолюбия не стоит.

Фёдор уже возле смотрового окошка. Он не открывает дверь — только прижимает к мутному стеклу лампу и считает вслух футляры. На шестом сбивается, начинает заново. Я вижу хуже: шепчущий шёлк съедает свет, серые свёртки проваливаются в тень, зато повреждённый заметен сразу. Пятно вокруг трещины расплзлось почти на всю горловину. Из-под ткани выдавливается белая крупа, падает на песок и исчезает без следа; через несколько секунд в этом месте образуется узкая стеклянная корка.

— Вечером было семь вершков, после пожара восемь с половиной, — говорит Фёдор. Голос у него спокойный, пальцы на раме белые. — Сейчас не меньше двенадцати. В акте писать «утечка» или «нарушение внутренней упаковки»?

— Пока пишите, что наблюдаем: вещество вышло за пределы футляра. Утечкой назовёт специалист.

Сычёв приходит с карабином и сухим полотенцем на лице. Дышать дымом после ночного пожара через него легче ненамного, зато рядом с солью старик не рискует даже мокрой тряпкой. Он заглядывает в окно, отступает и проводит каблуком черту по земле.

— Ближе не ходить. Ветер к посёлку.

— Ветра нет, — замечает Фёдор.

— Поэтому и говорю сейчас, пока не появился.

Аппарат «Глас» висит в канцелярии между картой и печью, похожий на телефон, который пытались починить церковным подсвечником. Фёдор вращает рукоять, слушает треск и дважды повторяет номер городской лечебницы. В первый раз отвечает сонная телефонистка и предлагает вызвать пожарных; во второй слово «живая» действует лучше фамилии Корсунова. Через пять минут нам обещают санитарного врача. Срок не называют, зато требуют не выносить груз на дорогу. Я подтверждаю, что именно этого нам не хватало для полного счастья.

До приезда врача закрываем восточные окна, перекрываем тропу к угольной и переносим Ивана из архива в бывшую комнату начальника. Оставлять задержанного рядом с папкой Воронцова опасно даже под охраной Пломбы; оставлять в камере возле соли — просто глупо. Сычёв привязывает цепочку к печному кольцу и отдаёт Ивану ночную кашу. Тот смотрит на миску, потом на белеющую за окном стену хранилища.

— Если эта дрянь рванёт, цепь снимете?

— Если рванёт, цепь станет меньшей из ваших забот, — отвечает Сычёв, но замок проверяет так, чтобы открыть одним ключом.

Три пакета с показаниями готовы. Один остаётся в малом сейфе, второй должен попасть к приставу Терехову, третий — в Палату с губернским поездом. Я ставлю на конвертах разные отгибки и записываю номера Фёдору. Ладонь после каждой пломбы ноет сильнее. Энергия Реестра не бесплатна, просто счёт приходит не деньгами. Перед глазами временами плывёт, во рту держится горечь таласского яда, а поясница отзывается на любое движение. Тело Корсунова молодое и, кажется, уже жалеет, что досталось человеку с опытом сверхурочной работы.

Санитарный фургон появляется через сорок минут. Красный крест на сером борту выцвел до розового, правая фара не горит, подвеска гремит так, будто внутри везут посуду без декларации. Машина останавливается у цепи; водительская дверь открывается, и женщина в

тёмно-синем платье спрыгивает прямо в пыль. Ей около сорока, волосы убраны под платок, на переносице белая полоса от защитных очков. Чемодан в её руке выглядит тяжелее, чем она, но помощи женщина не ждёт.

— Руднева, санитарный надзор и всё прочее, что в Каменном Броде некому делать, — представляется она. — Кто трогал груз руками?

— Никто после опечатывания.

— Кто начальник?

— Я.

Она смотрит на моё распухшее лицо, ссадины на запястьях и подпалённый рукав, затем переводит взгляд на Сычёва.

— Я спросила про начальника, не про пострадавшего.

— Ответ тот же.

— Плохая организация труда.

Зоя Матвеевна Руднева не тратит время на слухи Кабанова. Спрашивает число футляров, тип оболочки, когда появилась трещина, чем тушили и ставили ли пломбу на сам груз. Фёдор отвечает по журналу; я добавляю только то, чего он не видел. Услышав про огонь, врач закрывает глаза, считает до трёх и надевает респиратор. Второй отдаёт Сычёву, мне — тонкую стеклянную маску из чемодана.

— В ней фильтр на сорок вдохов. Не разговаривайте внутри.

— Это медицинское требование или личное?

— Пока медицинское. Могу продлить.

Дверь открываем на ладонь. Зоя бросает внутрь маленькую медную шайбу на нитке. Та падает возле повреждённого футляра и мгновенно чернеет по краю. Врач вытаскивает её, рассматривает под лампой и велит всем отойти ещё на два шага.

— Утечка активная. Соль уже ест слабые контуры, поэтому шёлк расплзается быстрее. Пожар нагрел керамику, трещина пошла к основанию. Переносить нельзя: лопнет от движения. Воду не использовать ни в каком виде, даже тряпки отжать в другом дворе. Под полом что?

Сычёв морщит лоб.

— Старый угольный прямик. Дальше водосборная канава, если не завалилась.

— Куда выходит?

— К общему оврагу. Там ручей и нижние колодцы.

Зоя снимает респиратор только возле рампы. На щеках остались красные полосы, голос звучит ещё суше.

— Один футляр мы удержим до вечера. Если треснут два соседних, соль уйдёт в камень, потом по старому водосбору. Половина нижнего посёлка питается из тех колодцев. Сначала начнут сыпаться домашние печати и лечебные контуры, потом люди полезут чинить их голыми руками. Кто-нибудь обязательно решит залить всё водой, и станет совсем весело.

— Чем удержать?

Она достаёт из чемодана свёрток сухого стеклянного войлока и флакон синего фиксатора. Войлок ложится на длинные деревянные щипцы; Зоя пропитывает его не жидкостью, а густым дымом из флакона. Вместе с Сычёвым они просовывают свёрток под горловину и оборачивают футляр, не касаясь керамики. Белые крупинки впиваются в волокна, ткань звенит, словно тонкий лёд. Пломба стоит у черты и тихо скребёт когтями землю.

— До заката, — говорит Зоя, закрыв дверь. — Может, до ночи, если оболочка не просядет. Нужна глазурованная камера, медная сетка без действующего контура, сухой отвод и нормальная вентиляция. Не магическая: соль её съест. Обычная труба наружу, выше человеческого роста.

— Цена?

— Если покупать новое — рублей сорок. Если Круглов соберёт из старого железа, меньше. Но он не любит казённые заказы.

— Казённые деньги любят его?

Фёдор приносит кассовый ящик. В нём сорок восемь рублей двадцать копеек — первая пошлина заставы за несколько месяцев и пока единственная. На эти деньги нужны продукты, керосин, замки, жалование, ремонт крыши и всё остальное, что государство числит исправным. Сычёв смотрит не на серебро, а на угольную.

— Можно вернуть соль Кабанову, — говорит он. — Пусть сам держит. Или вывезти в карьер и закопать.

— Вернуть подозреваемому вещественное доказательство, которое он ночью пытался уничтожить? — Фёдор спрашивает почти с обидой.

— Я перечисляю дешёвые варианты, Федя. Не хорошие.

Зоя захлопывает чемодан.

— В карьере она доберётся до грунтовой жилы. Кабанов повезёт через город, потому что другой дороги нет. Продать легально нельзя без разрешения Палаты и медицинского совета. Нелегально можно всё, но тогда зачем вам форма?

Последний вопрос адресован мне. Я пересчитываю деньги, хотя сумму знаю. В прошлой жизни изъятый опасный груз тоже быстро превращался из победы в расход: склад, экспертиза, охрана, утилизация. Начальство любило показатели до строки «затраты». Здесь строка пахнет гарью и способна отравить колодцы.

— Делаем камеру. Фёдор, оформляйте аварийный расход под мою ответственность. Сначала материалы и работа, остаток — на еду и связь. Жалование пока останется долгом.

Писарь прижимает кассу к груди.

— У нас нет утверждённой сметы.

— Тогда будет внеплановая.

— Форму отменили восемь лет назад.

— Найдите старую и зачеркните год. Причина расхода от этого не изменилась.

Фёдор хочет возразить, потом снова слышит треск из-за стены и уходит за бланком. Сычёв проводит ладонью по лицу. Четыре месяца он не получал денег, а я только что решил потратить первую кассу на стены вокруг чужой контрабанды. Благодарности не жду.

— Правильно, — произносит он всё же. — От этого не легче, но правильно.

Зоя поворачивается ко мне.

— Теперь сядьте.

— Надо найти Круглова.

— Найдём. Сначала я выясню, почему вы синего цвета.

Она осматривает меня прямо на ступенях: зрачки, горло, дыхание, следы верёвки. Флакон с таласским ядом из железного ящика не вскрывает, изучает через стекло и просит Фёдора зарисовать знак под пробкой. Увидев вязь, перестаёт шутить.

— Сон-камень. Хирургический состав из Талассы, запрещённый в свободной продаже. В вашей предполагаемой дозе человек дышит всё реже, пока не забывает продолжить. Когда отравили?

— Позавчера вечером. Возможно, раньше.

— Вы должны лежать в лечебнице.

— Уже лежал. В повозке.

— Это не лечебница.

— В ней тоже берут деньги до оказания помощи.

Зоя не улыбается. Даёт мне горькую таблетку, заставляет запить половиной фляги и предупреждает: ещё одна ночь без сна может закончиться тем, что решения будет принимать тело

без моего участия. Потом осматривает Ивана. Они узнают друг друга; он отворачивается первым.

— Настасью я лечила, — говорит врач после короткой паузы. — Не за двенадцать рублей. Квитанция есть?

— Кабанов платил, — бурчит Иван. — Мне счёт дали.

— Мне из его конторы передали три рубля двадцать копеек. Остальное, значит, стоила их доброта.

Иван закрывает глаза. Злость возвращается, но теперь ей есть точный адрес. Зоя меняет повязку на укусе, спрашивает о детях и обещает забрать их с бабушкой в пустую палату, если отец Григорий доставит записку. Иван не благодарит; только просит не везти по Соляной улице. Врач кивает так, будто получила обычное назначение.

На заставе остаются Сычёв с карабином, Пломба, задержанный и шестнадцать футляров. Мы с Фёдором едем в город вместе с Зоей. Кассу берём с собой: после ночного поджога хранить все деньги в одном деревянном здании было бы проявлением веры, а я пока предпочитаю замки.

Санитарный фургон ведёт себя на колее как табурет, сброшенный с лестницы. Зоя держит руль обеими руками, но я всё равно упираюсь сапогом в пол на каждом повороте. Фёдор сзади обнимает кассовый ящик и два пакета с показаниями. Один мы оставим Терехову, второй опустим в почтовый сейф на станции при свидетелях. Бумаги Воронцова в город не везём: их копии ещё не готовы, оригинал лежит в малом сейфе под охраной Пломбы.

У въезда в Каменный Брод дорогу перегораживает телега. Лошадь выпряжена и привязана к столбу княжеской будки, мешки с известью свалены у канавы. Худой возчик в выцветшей рубахе спорит с сержантом дружины, а девочка лет девяти стоит между ними, сжимая повод. На колене у неё свежая кровь; лицо сухое, но по тому, как она дышит, видно — плакать закончила недавно.

Зоя ругается и тормозит. Не из-за спора: девочка заметила санитарный крест и шагнула прямо перед машиной.

— Аня, с дороги! — кричит возчик.

— Тётя Зоя, они Ласточку забирают!

Врач выходит с бинтом, я — потому что дверцу заклинило и проще толкнуть плечом. Фёдор выбирается с другой стороны, не выпуская кассу. Сержант видит мой жетон и мрачнеет так, будто ещё один больной прибыл без записи.

— Внутренний сбор, господин Корсунов. К заставе отношения не имеет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.